

- ПРОЗА СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА И САШИ СОКОЛОВА
- ПРАВДИВАЯ ПОВЕСТЬ О ФАНТАСТИЧЕСКОМ ПОБЕГЕ
- ВСЕ, ЧЕГО ВЫ НЕ ЗНАЛИ О ЮРИИ АНДРОПОВЕ...
- ИЗРАИЛЬ И СИРИЯ – ВРАГИ ИЛИ ПАРТНЕРЫ?
- О СОЦИАЛИЗМЕ – ВСЕРЬЕЗ И УБИЙСТВЕННО
- МИЛАНСКИЙ СИМПОЗИУМ "КОНТИНЕНТ КУЛЬТУРЫ"

22

№ 30

1983

МИЛАНСКИЙ СИМПОЗИУМ
ИЗРАИЛЬ И СИРИЯ
О СОЦИАЛИЗМЕ
ПРОЗА СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА И САШИ СОКОЛОВА

ДВАДЦАТЬ ДВА

общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле

Год издания VI

№ 30

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

- СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ. Наши. 3
САША СОКОЛОВ. Палисандр Александрович, а, Палисандр
Александрович! 29
НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ. Стихи из книги "Переменная облачность" . . 58
СЕРГЕЙ ЗАЛИН. Стихи 65
СЛАВА КУРИЛОВ. Побег в океане 69

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- ЙОСИ ОЛЬМЕРТ. Ливан, Сирия, Израиль 109
БЕНИ ПЕЛЕД. Соглашение не с тем партнером. 118
ГАБРИЭЛЬ БЕН-ДОР. Израиль на Ближнем Востоке 126
НЕЛЛИ ГУТИНА. Год спустя.... 134

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

- ИЛЬЯ ЗЕМЦОВ. Юрий Андропов – путь к власти 138
ДОРА ШТУРМАН. Еще раз о социализме. 159
ВАДИМ ЯНКОВ. Экзистенциальный тип гомо советикус. 176

КУЛЬТУРА

- ИГОРЬ ЕФИМОВ, НАУМ КОРЖАВИН, ЖОРЖ НИВА, БОРИС ПАРАМОНОВ,
ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ, МИХАЙЛО МИХАЙЛОВ – выступления на Ми-
ланском симпозиуме "Континент культуры" (май 1983) 191

*На последней странице обложки – Виктор Богуславский "Соблазненная
и обманутая".*

ИЗДАНИЕ

общественного культурного фонда "Москва—Иерусалим" под покровительством Израильского комитета ученых при общественном совете солидарности с евреями СССР

главный редактор — Рафаил Нудельман

Редакционная коллегия:

В. Богуславский

А. Воронель

Н. Воронель

Э. Кузнецов

И. Чаплина

Ю. Меклер

Н. Рубинштейн

М. Хейфец

Я. Цигельман

ответственный секретарь — Нелли Гутина

технический редактор — Наталья Рубина

Всю корреспонденцию направлять по адресу:
"22", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel

Телефон редакции — 03/394525

Заказы на подписку за рубежом можно направлять в адрес представителей журнала:

Соединенные Штаты

L. Khotin, 235 17 Mile Dr. Pacific Grove, Cf. 93950, USA

Y. Levin, VOA Russian, 330 Independence Ave, Washington, DC, 20547, USA

Западная Германия

L. Roitman, 67 Oettinger str., am Englischen Garten, 8 Muenchen 22, BDR

Великобритания

I. Golomstock, 61 Aston str., Oxford OX4 1EW, England.

Типография "Дерби"

Тель-Авив

1983

ЛИТЕРАТУРА

Сергей Довлатов

НАШИ
(главы из повести)

Нора Сергеевна

Мое воспитание с раннего детства было политически тенденциозным. Мать, например, глубоко презирала Сталина. Более того, охотно и публично выражала свои чувства. Правда, в несколько оригинальной концепции. Она твердила:

— Грузин порядочным человеком быть не может!

Этому ее научили в армянском квартале Тбилиси, где она росла.

Отец мой, напротив, испытывал почтение к вождю. Хотя у отца как раз были веские причины ненавидеть Сталина. Особенно после того, как расстреляли деда.

Может быть, отец и ненавидел тиранию. Но при этом чувствовал уважение к ее масштабам.

В общем, то, что Сталин — убийца, моим родителям было хорошо известно. И друзьям моих родителей — тоже. В доме только об этом и говорили.

Я одного не понимаю. Почему мои обыкновенные родители все знали, а Эренбург — нет?

В шесть лет я знал, что Сталин убил моего деда. А уж к моменту окончания школы знал решительно все.

Я знал, что в газетах пишут неправду. Что за границей простые люди живут богаче и веселее. Что коммунистом быть стыдно, но выгодно.

Это вовсе не значит, что я был глубокомысленным юношей. Скорее, наоборот. Просто мне это сказали родители. Вернее — мама.

Отец меня почти не воспитывал. Тем более что они с матерью вскоре развелись.

Жили мы в отвратительной коммуналке. Длинный пасмурный коридор метафизически заканчивался уборной. Обои возле теле-

фона были испещрены рисунками — удручающая хроника коммунального подсознания.

Мать-одиночка Зоя Свистунова изображала полевые цветы.

Жизнелюбивый инженер Гордей Борисович Овсянников старательно ретушировал дамские ягодицы.

Неумный полковник Тихомиров рисовал военные эмблемы.

Техник Харин — бутылки с рюмками.

Эстрадная певица Журавлева воспроизводила скрипичный ключ, напоминавший ухо.

Я рисовал пистолеты и сабли...

Наша квартира вряд ли была типичной. Населяла ее главным образом интеллигенция. В уборной горела единственная лампочка. Драк не было. В суп друг другу не плевали. (Хотя ручаться трудно.)

Это не означает, что здесь царили вечный мир и благоденствие. Тайная война не утихала. Кастрюля, полная взаимного раздражения, стояла на медленном огне и тихо булькала...

Мать работала корректором в три смены. Иногда ложилась поздно, иногда рано. Иногда спала днем.

По коридору бегали дети. Грохотал военными сапогами Тихомиров. Таскал свой велосипед неудачник Харин. Репетировала Журавлева.

Мать не высыпалась. А работа у нее была ответственная. (Да еще при жизни Сталина.) За любую опечатку можно было сесть в тюрьму.

Есть в газетном деле одна закономерность. Стоит пропустить единственную букву — и конец. Обязательно выйдет либо похабщина, либо — хуже того — антисоветчина. (А бывает, и то и другое — вместе.)

Взять, к примеру, заголовок:

“Приказ верховного главнокомандующего”.

Главнокомандующий — такое длинное слово, шестнадцать букв. Надо же пропустить именно букву “Л”. А так чаще всего и бывает.

Или: “Коммунисты осуждают решения партии”. (Вместо — обсуждают.)

Или: “Большевистская каторга”. (Вместо — когорта.)

Как известно, в наших газетах только опечатки — правдивы.

Последние двадцать лет за это не расстреливают. Мать работала корректором тридцать лет назад.

Она совсем не высыпалась. Целыми днями мучительно боролась за тишину.

Однажды не выдержала. Повесила отчаянный лозунг на своих дверях:

“Здесь отдыхает полутруп. Соблюдайте тишину!”

И вдруг наступила тишина. Это было неожиданно и странно. Тихомиров бродил по коридору в носках. Хватал всех за руки и шипел:

— Тихо! У Довлатовой ночует политрук!

Полковник радовался, что мама обрела наконец личное счастье. Да еще с идейно выдержанным товарищем. Кроме того, политрук внушал опасения. Мог оказаться старше Тихомирова по воинскому званию...

Тишина продолжалась неделю. Затем обман был раскрыт...

Родилась мама в Тбилиси. В детстве занималась музыкой. Какая-то русская дама учила ее бесплатно.

Жить было весело. Во-первых — юг. К тому же — четверо детей в семье.

Сестра Мара была озорницей и умницей. Сестра Анеля — злоюшкой и капризулей. Братик Рома — драчуном и забиякой. Мать казалась наиболее заурядным ребенком...

Шопенгауэр писал, что люди абсолютно не меняются.

Каким же образом тетка Мара превратилась в строгого литературного редактора?

Почему хулиган и задира дядя Рома стал ординарным чиновником?

Почему капризная злюка Анеля выросла самой доброй, честной и непритязательной? Безупречной настолько, что о ней скучно писать?..

А мама — живет в капиталистических джунглях, читает “Эхо” и в супермаркете переходит от беспомощности на грузинский язык?..

О ее молодости я знаю совсем немного. В тридцатые годы сестры покинули Грузию. Обосновались в Ленинграде.

Тетка Анеля поступила на факультет иностранных языков.

Тетка Мара работала в издательстве.

Мать подала документы в консерваторию. И параллельно — в театральный институт. Сдавала экзамены одновременно. (Тогда это разрешалось.) И ее приняли в оба заведения. Мама говорит —

тогда всех принимали. Создавалась новая бесклассовая интеллигенция.

Был выбран театральный институт. Думаю, что зря.

Творческих профессий вообще надо избегать. Не можешь избежать — тогда другой вопрос. Тогда просто выхода нет. Значит, не ты ее выбрал, а она тебя...

Мать проработала в театре несколько лет. В немногих рецензиях, которые я читал, ее хвалили.

И коллектив, что называется, ее уважал. Актер Бернацкий, например, говорил:

— Хорошо бы Донату морду набить!.. Да Норку жалко...

Донат — это мой отец. Который реагировал следующим образом:

— С таким лицом, как у Жени Бернацкого, из дома не выходят...

Затем родился я. Отец и мама часто ссорились. Потом разошлись. А я остался.

Было уже не до гастролей. И мама бросила театр.

И правильно. Я наблюдал многих ее знакомых, которые до смерти принадлежали театру. Это был мир уязвленных самолюбий, растоптанных амбиций, бесконечных поношений чужой игры. Это были нищие, мстительные и завистливые люди...

Мама стала корректором. И даже прекрасным корректором. Очевидно, был у нее талант к этому делу. Ведь грамматики она не знала совершенно. Зато обладала корректорским чутьем. Такое иногда случается.

Я думаю, она была прирожденным корректором. У нее, если можно так выразиться, было этическое чувство правописания. Она, например, говорила про кого-то:

— Знаешь, он из тех, кто пишет "вообще" через дефис...

Что означало крайнюю меру нравственного падения.

О человеке же пустом, легкомысленном, но симпатичном говорилось:

— Так, "старушонка" через "е"...

Мать с утра до ночи работала. Я — очень много ел, я рос. Мать же питалась в основном картошкой. Лет до семнадцати я был абсолютно уверен, что мать предпочитает картошку всему остальному. (Здесь, в Нью-Йорке, окончательно стало ясно, что это не так...)

Квартира была скучная, хоть и многолюдная. События происходили крайне редко.

Однажды к полковнику Тихомирову нагрязнул дальний родственник — Сучков. Рослый неуклюжий малый из поселка Дулево.

— Дядя, — сказал он уже на пороге, — окажите материальное содействие в качестве трех рублей. Иначе пойду неверной дорогой...

— Один неверный шаг ты уже сделал, — высказался Тихомиров, — ибо просишь денег. А денег у меня нет. Так что не рассчитывай...

Племянник уселся на коммунальный сундук и заплакал. Так он просидел до обеда.

Наконец мать сказала:

— Заходите. Вы наверное проголодались?

— Давно, — подтвердил Сучков.

Он поселился у нас. Без конца ел и гулял по Ленинграду. Вечерами пил чай и смотрел телевизор. Он увидел телевизор впервые.

Полковник Тихомиров держался нейтрально. Только перестал здороваться с мамой.

Наконец мать спросила:

— Володя, каковы твои планы?

Сучков вздохнул:

— Мне бы денег раздобыть на учебники... И на дрова... Учиться хочу, — закончил он с интонацией молодого Ломоносова.

И строго добавил:

— А то, боюсь, пойду неверной дорогой...

Мать заняла для него у соседки пятнадцать рублей. Купила Сучкову билет на поезд.

За сорок минут до отъезда Володя попросил чаю.

Он пил чашку за чашкой, растворяя в кипятке безграничное количество сахара. Так, словно хотел целиком исчерпать неожиданную благосклонность окружающего мира.

— Смотри, не опоздай, — тревожно говорила мама.

Сучков вытирал лицо газетой, неизменно отвечая:

— Что-то к воде потянуло...

И мать не выдержала:

— Так походи и утопись! — закричала она.

Чужой родственник нахмурился. Укоризненно посмотрел на мать.

Воцарилась тягостная пауза.

— Какие вы мелочные, Нонна Степановна, — упрекнул будущий Ломоносов, путая разом — имя, отчество, факты...

Он встал. Окинул трагическим взглядом колбасу и сахар, расправил плечи и зашагал неверной дорогой...

Так мы и жили.

И вечно я доставлял матери огорчения.

Сначала я плохо учился. Плохо и разнообразно. То есть иногда я вдруг становился участником какой-нибудь районной химической олимпиады. А потом опять шли сплошные двойки. Даже по литературе.

В 54-м году я стал победителем всесоюзного конкурса юных поэтов. Нас было трое победителей — Леня Дятлов, Саша Макаров и я. Впоследствии Леня Дятлов спился. Макаров переводит с языка Коми. А я вообще неизвестно чем занимаюсь. Но тогда мы были победителями. Премии нам вручал Самуил Яковлевич Маршак.

Конкурс миновал. И снова пошли двойки. Причем не за вольномыслие, а за тупость. Я безбожно списывал примитивные классные работы. А "Молодую гвардию" не читал до сих пор. (И теперь уже не прочту...)

Короче, учился я плохо. Дружил со школьным отребьем. Более того, курил и даже немного выпивал.

В университете я тоже занимался плохо. Зато постоянно угрожал матери женитьбой. Причем Бог знает на ком...

Потом меня забрали в армию.

Служил я тоже плохо. Я был лишен молодцеватости. Так и прослужил до конца с нечищенной бляхой.

Затем меня демобилизовали.

Я стал работать в многотиражных газетах. То и дело переходил с места на место. Да еще начал писать рассказы.

Рассказы, естественно, не печатали. Я стал больше пить. Маска непризнанного гения как-то облегчала существование.

И друзья появились соответствующие. Бородатые, загадочные и мрачные. Кроме того, они не мыли рук после уборной. А мать к этому относилась болезненно. Едва ли не так же, как к правосудию.

Если друг шел в уборную, мать замирала. По смене тембров льющейся воды устанавливала, моет он руки или нет. Мать ждала и прислушивалась. Сначала было тихо. Затем с мощным грохотом падала вода из бака. И тотчас распахивалась дверь — значит, не мыл...

Мать начинала заискивать и суетиться:

— Наверное, кончилось мыло? Дать вам чистое полотенце? Мать задавала наводящие вопросы. Настойчиво пыталась вынудить друга к гигиене.

Друг отвечал:

— Не беспокойтесь. Все нормально...

А некоторые лишь с удивлением поднимали брови.

Если друг задерживался, если грохочущий поток сменялся журчанием водопроводного крана, мать расцветала. Она прислушивалась к наступившей затем тишине. Улавливала шорох полотенца.

Она предлагала такому гостю кофе. Беседовала с ним о Рахманинове...

Но это случалось редко. Короче, те еще были друзья...

Их тоже не печатали. Мои друзья реагировали на это болезненно и шумно. Они пили крепленое вино и считали друг друга гениями. Почти все мои друзья были гениями. А иные были гениями сразу в нескольких областях. Например, Саша Кондратов был гением в математике, лингвистике, поэзии, физике и цирковом искусстве. На мизинце его красовался самодельный оловянный перстень в форме черепа...

Мать симпатизировала друзьям, подкармливала их. Выслушивала хвастливые, безумные излияния.

Она изображала толпу. (Какой же гений без толпы, без черни?!..) Она умышленно задавала наивные вопросы. Как бы делала выкрики из переполненного зала.

— Скажите, Паустовский — талантливый? — интересовалась она.

— Паустовский? Дерьмо! — академически реагировал собеседник.

— А Катаев?

— Полное дерьмо...

В семьдесят шестом году три моих рассказа были опубликованы на Западе. Отныне советские издания были для меня закрыты. (Как, впрочем, и до этого.) Я был одновременно — горд и перепуган.

Друзья реагировали сложно. Одни предостерегали:

— Вот увидишь, тебя посадят. Пришьют какую-нибудь уголовщину, и будь здоров!..

Другие высказывались так:

— Напечатали, а что толку? Тиражи на Западе микроскопические. Там не заметят. И тут все дороги закроют...

Третьи как будто даже осуждали:

— Писатель должен издаваться на родине...

И только мать все повторяла:

— Как я рада, что тебя наконец печатают!..

Затем пошли неприятности. Меня отовсюду выгнали. Лишили самой мелкой халтуры.

Я устроился сторожем на какую-то дурацкую баржу — и от туда выгнали.

Я стал очень много пить. Жена и дочка уехали на Запад. Мы остались вдвоем. Точнее — втроем. Мама, я и собака Глаша.

Началась форменная травля. Я обвинялся по трем статьям уголовного кодекса. Тунеядство, неповиновение властям, "иное холодное оружие".

Все три обвинения были липовые.

Милиция являлась чуть не каждый день.

Но тут и я принял защитные меры.

Жили мы на пятом этаже без лифта. В окне напротив постоянно торчал Гена Сахно. Это был спившийся журналист и, как многие алкаши, человек ослепительного благородства. Целыми днями глушил портвейн у окна.

Если к нашему подъезду шла милиция, Гена снимал трубку.

— Бляди идут, — лаконично сообщал он.

И я тотчас же запираю дверь на щеколду.

Милиция уходила ни с чем. Гена Сахно получал честно заработанный рубль.

Так мы и жили.

Мать все повторяла:

— Я рада, что тебя наконец печатают...

Затем меня неожиданно посадили в Калаяевскую тюрьму. Подробности излагать не хочется. Скажу лишь одно — в тюрьме мне не понравилось.

Раньше я говорил старшему брату:

— Ты сидел в лагере... Я служил в лагере... Какая разница? Это одно и то же...

Сейчас я понял. Это вовсе не одно и то же. А подробности излагать не хочется...

Затем меня неожиданно выпустили. И предложили уехать. Я согласился.

Я даже не спрашивал, готова ли к отъезду мать. Меня изумило,

что есть семьи, в которых эта проблема решается долго и трагически.

С Глашей тоже не было хлопот. Пришлось уплатить за нее какие-то деньги. По два шестьдесят за килограмм ее веса. Глашу оценили чуть дороже свинины. И значительно дешевле нотатении...

Сейчас мы в Нью-Йорке и уже не расстанемся. И прежде не расставались. Даже когда я надолго уезжал...

Когданибудь в самом большом издательстве Америки. Я опубликую самую толстую книгу. И на самом первом листе громадными буквами выведу:

“Н. С. ДОВЛАТОВОЙ – ЗА ВСЕ МУЧЕНИЯ!”

Отец

Мой отец всегда любил покрасоваться. Вот и стал актером.

Жизнь казалась ему грандиозным театрализованным представлением. Сталин напоминал шекспировских злодеев. Народ безмолвствовал, как в “Годунове”.

Это была не комедия и не трагедия, а драма. Добро в конечном счете торжествовало над злом. Низменные порывы уравнивались высокими страстями. Шли в одной упряжке радость и печаль. Центральный герой оказывался на высоте.

Центральным героем был он сам.

Я думаю, у моего отца были способности. Он пел куплеты, не имея музыкального слуха. Танцевал, будучи нескладным еврейским подростком. Мог изобразить храбреца. Это и есть лицедейство...

Владивосток был театральным городом, похожим на Одессу. В портовых ресторанах хулиганили иностранные моряки. В городских садах звучала африканская музыка. По главной улице — Светланке — фланировали щеголи в ядовито-зеленых брюках. В кофейнях обсуждалось последнее самоубийство из-за неразделенной любви...

Дед Исаак был театральной личностью. Бывший гвардеец, атлет и кутила, он немного презирал сыновей. Один писал стихи. Второй играл на сцене. Наиболее дельным и практичным казался младший, Леопольд. Шестнадцати лет он навсегда бежал из дома.

Отец мой тоже писал стихи. И речь в них шла о тяге к смерти. В чем проявлялся, я думаю, избыток жизненных сил. Стихи увлекли его как элемент театрального представления.

И еще он любил теннис. У теннисистов была эффектная спецодежда. Судейство велось на английском языке...

Как многие захолустные юноши, отец и его братья потянулись в столичные города. Михаил уехал в Ленинград совершенствовать поэтическое дарование. Донат последовал за ним. Размахистый Леопольд оказался в Шанхае.

Мой отец поступил в театральный институт. Как представитель новой интеллигенции, довольно быстро его закончил. Стал режиссером. Все шло хорошо.

Его приняли в академический театр. Он работал с Вивьеном, Толубеевым, Черкасовым, Адашевским.

Я видел положительные рецензии на его спектакли.

Видел я и отрицательные рецензии на спектакли Мейерхольда. Они были написаны примерно в те же годы.

Затем наступили тревожные времена. Друзья моих родителей стали неожиданно исчезать.

Мать проклинала Сталина. Отец рассуждал по-другому. Ведь исчезали самые заурядные люди. И в каждом помимо достоинств были существенные недостатки. В каждом, если хорошо подумать, было нечто отрицательное. Нечто такое, что давало возможность примириться с утратой.

Когда забрали жившего ниже этажом хормейстера Лялина, отец припомнил, что Лялин был антисемитом. Когда арестовали филолога Рогинского, то выяснилось, что Рогинский — пил. Конферансье Зацепин нетактично обращался с женщинами. Гример Сидельников вообще предпочитал мужчин. А кинодраматург Шапиро, будучи евреем, держался с невероятным апломбом.

То есть совершалась драма, порок в которой был наказан.

Затем арестовали деда — просто так. Для отца это было полной неожиданностью. Поскольку дед был явно хорошим человеком.

Разумеется, у деда были слабости, но мало. Притом сугубо личного характера. Он много ел...

Драма перерастала в трагедию. Мой отец растерялся. Он понял, что смерть бродит где-то неподалеку. Что центральный герой находится в опасности. Как в трагедиях Шекспира.

Потом моего отца выгнали из театра. Да и как было не выгнать, следуя его же теории. Еврей, отец расстрелян, младший брат за границей и так далее.

Отец стал писать для эстрады. Он сочинял фельетоны, куплеты, миниатюры, интермедии. Он стал профессиональным репризером

и целыми днями выдумывал шутки. А это занятие, как известно, начисто лишает человека оптимизма.

Одну его стихотворную репризу я запомнил навсегда:

“Видеть зава довелось,
Наш завмаг силен, как лось,
Только вот уж десять лет,
Лососины в маге нет...”

Я спросил отца, что все это значит? Как связаны понятия в этом безумном четверостишии?

Отец рассердился и закричал трагическим высоким голосом:
– Ты не улавливаешь сути! Ты просто лишен чувства юмора!..

Он задумался. Уединился минут на сорок. И затем торжествующе огласил новый вариант:

“Наш завмагом молодец,
Как соленый огурец,
Только вот уж десять лет,
Огурцов в сельмаге нет...”

– Ну как? – спросил он.

– Огурцы продаются на каждом шагу, – сказала мать.

– Ну и что?

– А то, что это – не жизненно.

– Что – не жизненно? Что именно – не жизненно?

– Да это – “огурцов в сельмаге нет...”. Ты бы лучше написал про говяжьих сардельки.

Отец схватил себя за волосы и крикнул:

– При чем тут сардельки?! Я вам не домохозяйка! Ваша пошлая жизнь меня совершенно не интересует!.. Не жизненно! – повторял отец, запираясь в своем кабинете...

Я знал, что он тайно пишет лирические стихи. Через двадцать лет я их прочел. К сожалению, они мне не понравились.

Его эстрадные репризы были лучше. Например, выходит конферансье и объявляет:

“Сейчас Рубина Калантарян исполнит мексиканскую песенку “Алый цветок”. Вот ее содержание. Хуанито подарил мне алый цветок. Я бедняк, сказал Хуанито, и не могу подарить тебе жемчужное ожерелье. Так возьми же хотя бы этот цветок!.. Хуанито,

сказала я, ты подарил мне нечто большее, чем жемчужное ожерелье. Ты подарил мне свою любовь!.. Итак — Рубина Калантарян! Мексиканская песенка — “Алый цветок”! Песня исполняется НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!..

В зале смеялись, я это помню...

У отца была романтическая внешность. В его лице ощущалась какая-то необоснованная, излишняя представительность. Он выглядел молодежавым, довольно элегантным. И все-таки казался обитателем горьковской ночлежки. Он напоминал разом — Пушкина и американского безработного.

Конечно, отец выпивал. Пожалуй, не больше, чем другие. Но как-то заметнее. Короче, его считали пьяницей, и зря. Его артистизм и в трезвом состоянии немного эпатировал публику...

Отец был поставщиком каламбуров и шуток. Мать обладала чувством юмора. (Дистанция — как между булочником и голодающим.) Такие разные люди сосуществовать не могут, это ясно.

Как все легкомысленные мужчины, отец был добродушным человеком. Мать — невоздержанным и резким. Ее исключительная порядочность не допускала компромиссов. Любой ее жест принимал характер самопожертвования. В безжалостном свете ее моральной чистоты недостатки отца катастрофически проявлялись.

Они развелись, когда мне было восемь лет...

Итак, культ личности, война, эвакуация. Затем — развод, халтура, женщины... Ресторан Дворца искусств...

Его постоянно окружали какие-то непрезентабельные личности. Хотя сам он был вполне порядочным человеком. А в денежных отношениях — так просто щепетильным.

Мне импонировала его снисходительность к людям. Человека, который уволил его из театра, мать ненавидела всю жизнь. Отец же дружески выпивал с ним через месяц...

Шли годы. Сын погрелся. Вождя разоблачили. Дед был реабилитирован, как говорится — “за отсутствием состава преступления”.

Отец воспрянул духом. Ему казалось, что наступает третий, заключительный акт жизненной драмы. И что добро наконец победит. Можно сказать, уже победило...

Он второй раз женился. Его полюбила молодая симпатичная женщина-техник. Возможно, она приняла его за гениального чудака. Такое иногда случается...

Короче, дела поправлялись. Представление набирало утрачен-

ный темп. Восстанавливались нарушенные законы классической драмы.

И что же дальше? Ничего особенного. Государством руководили какие-то неясные, лишенные индивидуальности вожди. В искусстве царило мрачноватое, бесцветное единодушие.

Людей как будто не расстреливали. И даже не сажали. Вернее, сажали, но редко. И притом за какие-то реальные действия. Или, как минимум, за неосторожные публичные высказывания. Короче, за дело. Не то что раньше...

Тем не менее при Сталине было лучше. При Сталине издавали книжки, затем расстреливали авторов. Сейчас писателей не расстреливают. Книжек не издают. Еврейских театров не закрывают. Их просто нет...

Наследники Сталина разочаровали моего отца. Им не хватало величия, блеска, театральности. Мой отец готов был примириться с тиранией, но с тиранией — восточной, красочной и диковатой.

Он убежден был, что Сталина похоронили — зря. Его нельзя было хоронить, как обыкновенного смертного. Не следовало писать о его болезни, о кровоизлиянии в мозг. Да еще публиковать какой-то неуместный анализ мочи.

Надо было заявить, что Сталин воспарил. Даже просто написать — исчез. И все бы поверили. И продолжала бы существовать великая легенда. Чем Сталин хуже этого малого из Назарета?!..

А так — стоят у мавзолея недовольные раскормленные дядьки. С виду — разодетые пенсионеры...

Жизнь становилась все более тусклой и однообразной. Даже злодейство носило какой-то будничной, унылый характер. Добро перерождалось в безучастность. Про хороших людей говорили — этот не стучит...

Я не помню, чтобы мой отец всерьез интересовался жизнью. Его интересовал театр. За нагромождением отцовских слов, поступков, мыслей едва угадывалась чистая, нелепая душа.

Вспоминается его разговор с писателем Минчковским. Минчковский выпил и сказал:

— Донат, представь себе, я был осведомителем.

Отец возмутился.

— Я больше не подам тебе руки!

Минчковский пояснил:

— Я хороших людей не закладывал. Только плохих.

Мой отец на секунду задумался и произнес:

— Кто же тебя, Аркадий, поставил судьей? Что значит, — плохие, хорошие? Почему это решал именно ты? Разве ты Христос?!.. (Последняя фраза, я уверен, когда-нибудь зачтется моему отцу.)

Минчковский снова пояснил:

— Плохие — это те, которые друзей не угощают... Которые пьют в одиночку...

— Тогда еще ничего, — сказал мой отец.

В те годы он был чуть ли не доцентом музыкального училища, где по его инициативе создали эстрадный класс.

Там он и преподавал. Студентов называл учениками. В манере Пифагора...

Ученики его любили за демократизм.

Но обстановка в этом заведении была довольно гнусная. Один из педагогов написал донос. Там говорилось, что мой отец развращает студентов. Ходит с ними по ресторанам. Ухаживает за молоденькими девушками. И так далее. Донос был анонимный.

Отца пригласили в дирекцию. Показали ему злополучную бумагу. Отец вынул лупу и говорит:

— Позвольте взглянуть?

Ему разрешили.

Он склонился над бумагой. Через минуту раздалось тихое бормотание:

— Так... Нажим в заглавных буквах... Шатен... Промежуток между бэ и твердым знаком... Узкие глаза... Незамкнутый овал... Курит одну сигарету за другой... Эр, переходящее в е... Ботинки сорок третьего размера... Хорошо... Короткий росчерк над буквой дэ... Усы... Перекладинка... Оборванная линия... Шурка Богуславский...

Затем отец поднялся и торжественно воскликнул:

— Это написал Шурик Богуславский!

Анонимщика разоблачили. Предпринятое отцом графологическое исследование дало блестящие результаты. Богуславский сознался.

Было организовано собрание. И мой отец сказал:

— Шура! Александр Германович! Ну как же ты, член партии, мог это совершить?!

Я потом говорил отцу:

— То, что Богуславский коммунист — вполне логично. Это как раз логично и естественно...

Но он продолжал сокрушаться:

— Коммунист... Член партии... Фигура, облеченная доверием...

Было в моем отце какое-то глубокое и упорное непонимание реальной жизни...

События между тем принимали довольно неясный оборот. Я печатался на Западе. Дочка моего отца полюбила юного сиониста Леню. Молодожены собирались уезжать. Я колебался между тюрьмой и Парижем...

Наконец моего отца выгнали с работы.

— Ну и хорошо, — сказал я, — поедем вместе.

— Куда?

— Куда угодно. В капиталистические джунгли.

— И что там делать?

— Ничего. Стареть...

Мой отец почти рассердился. Еще бы — покинуть сцену в третьем акте! За три минуты до аплодисментов!..

Что я мог сказать ему? Что мы — не сцена, а партер? Что наступил антракт? Что он может тянуться до святого пришествия?..

(Да отец мой, видимо, и не знал, что такое — святое пришествие...)

Сначала уехали моя жена и дочка. Затем сестрица с Леней. После них — я, мать и собака...

Через год в Америку приехал мой отец. Поселился в Нью-Джерси. Играет в бинго. Все нормально. Аплодисментов ждать пока что неоткуда...

И только одно меня беспокоит... Не беспокоит, а удивляет, что ли... В общем, моя жена при каждом удобном случае... Если какое-то происшествие или литературное сборище... Короче, что бы я ни сделал, моя жена всегда повторяет:

— Боже, до чего ты похож на своего отца!..

Глафира

С каждым годом она все больше похожа на человека. (А ведь не о любом из друзей это скажешь.) Когда она рядом, я уже стесняюсь переодеваться.

Мой приятель Севостьянов говорит:

— Она у вас единственный нормальный член семьи...

Принес я ее домой на ладони. Было это двенадцать лет назад. Месячный щенок-фокстерьер по имени Глаша. Расцветкой напо-

минает березовую чурочку. Нос — крошечная боксерская перчатка...

Короче, Глаша была неотразима.

Примерно до года она казалась нормальной рядовой собакой. Грызла нашу обувь. Клянчила подачки.

Воспитывали мы ее довольно невнимательно. Кормили чем придется. Гуляли с ней утром и вечером минут по десять.

Никаких “Дай лапу!”, никаких “Тубо!” и “Фас!”..

Зато мы подолгу с ней беседовали. И я, и мама, и жена. А потом и дочка, когда сама научилась разговаривать...

Глаше шел тринадцатый месяц, когда появился некий Бобров.

Мы учились вместе на филфаке. Потом меня выгнали, а Леша благополучно закончил университет.

Был он вполне здоровым и даже нахальным юношей. Ухаживал за барышнями, скандалил, выпивал.

Потом женился. Жену называл английским словом — Фили (кобыла).

Год проработал в “Интуристе”.

Тут им неожиданно овладел крайний пессимизм. Бобров занялся егерем в Подпорожский район. Стал жить в лесу, как Генри Торо. Охотился, мариновал грибы, построил и напряженно эксплуатировал самогонный аппарат.

Изредка он появлялся в Ленинграде. Однажды вдруг зашел ко мне. Увидел мою собаку и говорит:

— Это же норная собака. А ты ее в болонку превратил... Давай, заберу ее в охотничье хозяйство. А месяца через два привезу обратно.

Мы подумали — отчего бы и нет? Должны же у собаки развиваться природные инстинкты...

Прошло два месяца, три, четыре... Бобров не появлялся. Я написал ему в охотничье хозяйство. Ответа не последовало.

Мама все повторяла:

— Без Глаши скучно.

Дочка несколько раз плакала.

Наконец жена мне говорит:

— Поезжай и забери собаку.

Наш друг Валерий Грубин поехал со мной.

К семи часам мы были в Подпорожье. До охотничьего хозяйства Ровское — тринадцать километров. Без всякого транспорта. И не по дороге, а по замерзшей реке Свирь.

Что делать?

Какой-то алкаш посоветовал:

— Наймите сани за тройк.

Так мы и поступили. Двое мальчишек подрядились нас отвезти. Всю дорогу ехали молча. Кобыла медленно и осторожно ступала по льду. Попытки разговориться с деревенскими мальчишками успеха не имели.

Грубин спросил одного:

— Папа и мама в колхозе работают?

Тот долго молчал. Потом многозначительно и туманно ответил:

— Эх... Поплыли муды да по глыбкой воды...

Если сани подбрасывало на ухабах, второй мальчишка глухо бормотал:

— Вот тебе и пьянки-хуянки...

Наконец лошадка остановилась:

— Тут на горке и будет Ровское...

Мы расплатились и полезли в гору. Из темноты донеслось:

— Но-о, блядина, я кому сказал?!..

Было совсем темно. Ни огонька кругом, ни звука. Пошли наугад вдоль реки.

Неожиданно Грубин исчез. Кричу:

— Ты где?

В ответ — загробный голос:

— Тут... Я в заброшенный колодец провалился...

Я пошел на звук. Обнаружил квадратную черную яму. Лег на снег и осторожно заглянул вниз.

В глубине ямы брезжил свет. Грубин закуривал.

— Тут сыро, — пожаловался он.

Я отполз. Выбрал трехметровое деревце. Терзал его около часа. Наконец с помощью топора изготовил шест. Вытащил приятеля наружу.

Грубин поблагодарил меня и сказал:

— Я там спички оставил...

В Ровское мы попали только утром. Оказывается, мальчишки высадили нас за четыре километра до цели...

О, крестьянские дети, воспетые Некрасовым! До чего же вы переменялись! Отныне и присно нарекаю вас — колхозные дети!..

Леша Бобров стоял на пороге и застенчиво улыбался. Глаша с воем бросилась ко мне, лохматая и похудевшая.

— Замерзли, — спросил Бобров, — хотите выпить?..

Как бы ни злился российский человек, предложи ему выпить, и он тотчас добреет...

За столом Леша рассказал:

— Я был в Ленинграде дважды. Хотел вернуть собаку — не могу. Привык...

Мы узнали, что Глаша совершила несколько подвигов. Во-первых, спасла щенка, который тонул. Вытащила его из лужи. Кроме того, первая взяла след медведя-шатуна. И наконец, задушила лисицу.

Мне было как-то неприятно, что Глаша умертвила живое существо. Но что поделаешь — инстинкт...

Тут я вспомнил одну давнюю историю. Обедали мы с приятелем в ресторане "Балтика". Разговорились с официанткой. Угостили ее коньяком. И все это дружески, без малейшей корысти. Она же затем поступила довольно странно. Обсчитала меня рублей на шесть.

Откровенно говоря, я немного растерялся. Не денег, естественно, жаль — за человека обидно.

А приятель говорит:

— Чему ты удивляешься?! Соловей заливается не потому, что ему весело. Он просто не может иначе... Соловей поет, официантка ворует.. Просто иначе не может... Природа такая, инстинкт...

— Продай собаку, — говорит Бобров.

— Как тебе не стыдно!

— Ну, тогда подари. Здесь ей будет лучше.

— Ей-то — да. А нам?..

Мы еще немного выпили и ушли спать.

Проснулись к обеду. В столовой застали четверых незнакомых мужчин.

Леша отозвал меня в сторону:

— Эти ребята — из КГБ. Завтра на лося пойдут.

— Лось-то при чем? — говорю — Мало им нашего брата?

— Да они ничего, — шептал Бобров, — они после работы меняются.

— В какую сторону?..

Мальчики из органов выглядели сильно. Что-то было в них общее, типовое. Серийные, гладкие лица, прически, шерстяная одежда.

Один подсел ко мне. Заговорил отрывисто и четко:

— Ваша собака?.. Хорошо... Как зовут? Глафира? Это что, юмор?

Ценю... Течка давно была? Не знаете? А кто же знает?.. Уши гноятся? Нет?.. Отлично...

— Садитесь обедать, — пригласил Бобров.

Обедали не спеша. Ребята из органов достали водку. Разговор то и дело принимал щекотливый характер.

— Свобода?! — говорил один. — Русскому человеку только дай свободу! Первым делом тещу зарежет!..

Я спросил:

— За что Мишу Хейфеца посадили? Другие за границей печатаются, и ничего. А Хейфец даже не опубликовал свою работу.

— И зря не опубликовал, — сказал второй, — тогда не посадили бы. А так — кому он нужен?..

— Сахаров рассуждает, как наивный младенец, — говорил третий, — его идеи бесплодны. Вроде бы грамотно изложено, с единственной поправкой. То, что рекомендует Сахаров, возможно при одном условии. Если будет арестовано Политбюро ЦК...

— Запросто, — сказал Валерий Грубин.

— Нам пора ехать, — говорю, — спасибо.

Мы собрали вещи. Бобров попрощался с Глашей. Его жена Фили (настоящее имя забыл) даже тихонько поплакала.

Мы вышли на дорогу. Ребята из органов толпились на крыльце.

— Заходите, — сказал один, — у нас бесподобный музей. Не для широкой публики, конечно. Но я устрою. Координаты, телефон — я дал.

— И вы приходите, — говорю.

— Только с ордером, — добавил Грубин.

Чекист поглядел на моего друга внимательно и говорит:

— Ордер — не проблема...

Мы попрощались и зашагали вдоль реки. Глаша бежала рядом не оглядываясь.

— Интересно, — говорю, — что у них в музее хранится?

— Черт его знает, — ответил Грубин, — может, ногти Бухарина?..

Года через два я переехал в Таллин. Глаша была со мной. Вскоре совершила очередной подвиг.

Меня послали в командировку на острова. Собаку я отдал на это время друзьям. Жили они в квартире с печным отоплением. Как-то раз затопили печи. Раньше времени закрыли трубу. Вся семья уснула.

В квартире запахло угарным газом. Все спали.

Но проснулась Глаша и действовала разумно. Подошла к хозяйскому ложу и стащила одеяло. Хозяин запустил в нее шлепанцем, одеяло поправил. Глаша вновь его стащила и при этом залаяла. Наконец двуногие сообразили, что происходит. Распахнули двери, выбежали на улицу. Хозяин повалился в сугроб. Глашу долго пошатывало и тошнило.

Днем ей принесли из буфета ЦК четыреста граммов шейной вырезки. Случай уникальный. Может быть, впервые партийные льготы коснулись достойного объекта...

В Таллине я стал подумывать о Глашином замужестве. Позвонил знакомому кинологу. Он дал несколько адресов и телефонов.

Аристократическая генеалогия моей собаки побуждала к некоторой разборчивости. Я остановился на кобельке по имени Резо. Грузинское имя предвещало телесную силу и буйство эмоций. Тем более что владелицей Резо оказалась журналистка из соседней эстонской газеты — миловидная Анечка Паю.

Любовный акт должен был состояться на пустыре возле ипподрома.

Резо выглядел прекрасно. Это был рыжеватый крепыш с нахальными глазами. Он нервно вибрировал и тихонько скулил.

Аня пришла в короткой дубленке и лакированных сапогах. Залюбовалась моей собакой. Воскликнула:

— Какая прелесть!

Добавив:

— Только очень худенькая...

Как будто усомнилась, возможен ли хозяйству прок от такой невестки.

— Сейчас это модно, — говорю.

Аня полемично шевельнула округлым бедром.

Мы обменялись документами. Родословная у Глаши, повторяю, была куда эффектнее, чем у моего друга Володи Трубецкого. Документы Резо тоже оказались в порядке.

— Ну, что ж, — вздохнула Аня и отстегнула поводок.

Я тоже отпустил Глафиру.

Был солнечный зимний полдень. На снегу лежали розоватые тени. Резо, почувствовав свободу, несколько обезумел. С лаем отмахал три широких круга. Глаша наблюдала за ним с вялым интересом.

Побегав, Резо опрокинулся в снег. Видимо, захотел охладить

свой пыл. Или показать, каких трудов ему стоит удержаться от безрассудства.

Затем отряхнулся и подбежал к нам. Глаша насторожилась и подняла хвостик.

Кобелек, хищно приглядываясь, обошел ее несколько раз. Он как будто увеличился в размерах. Он что-то настоятельно бормотал. Мне показалось, что я расслышал:

— Вай, какая дэвушка! Стройная, как чинара. Юная, как заря... Ресторан пойдем. Шашлык будем кушать. Хванчкара будем пить...

Глашин хвостик призывно вздрагивал. Она шагнула к Резо, задев его плечом.

И тут случилось неожиданное. Визгливо твякнув, кобелек рванулся прочь. Затем прижался к лакированным сапогам хозяйки.

Глаша брезгливо отвернулась.

Резо дрожал и повизгивал.

— Ну, что ты?! Что ты?! — успокаивала его Аня. — Ну, будь же мужчиной!

Но Резо лишь повизгивал и дрожал.

Он был темпераментным импотентом, этот развязный кацо. Тип, довольно распространенный среди немолодых кавказцев.

Анечке было неловко за своего воспитанника. Она вроде бы даже захотела чем-то компенсировать его неуспех. Прощаясь со мной, шепнула:

— Калью улетает в Минск на семинар. Я позвоню тебе в конце недели.

Аня действительно позвонила, но грубая Татьяна обругала ее матом...

Когда меня увольняли из редакции, Аня вызвалась писать фельетон для эстонской газеты. Даже название придумала — "Сквозь темные очки". В том смысле, что я клеветник и очернитель.

Знакомый инструктор ЦК не без усилий приостановил это дело...

Но вернемся к моей собаке. Раза три я пытался выдать ее за муж. И все три попытки рухнули.

Второй жених обладал плебейской худобой и силой. Напоминал учителя физкультуры из провинции. Был чем-то похож на Аркадия Львова.

Он решил не тратить времени даром. Обойтись без любовной игры. Действовал, как говорится — на хапок.

Глаша его больно покусала.

А он еще сопротивлялся, как жлоб... Так и ушел ни с чем. Веселый такой, без комплексов...

Почему же Глаша его отвергла?

Видимо, капля романтики необходима...

Третий жених беспрерывно чесался. Кроме того, у него был слабый мочевого пузырь. Да и шерсть грязноватая, с проплешинами. А родословная — я посмотрел — исключительная. Значит, вырожденец. Наподобие Володи Трубецкого.

Глаша его просто игнорировала.

Так и осталась девицей. А дальше уже было поздно. Знакомый кинолог сказал:

— А вдруг не разродится, что тогда?.. Мы имеем право рисковать своей жизнью. Рисковать чужой — порядочным людям не дано...

Сейчас Глафире двенадцать лет.

Двенадцать лет мы знакомы.

Двенадцать лет нашу семью потрясут раздоры и всяческие катаклизмы.

Мы без конца ссорились и разводились. Семья, как говорится, рушилась. И даже возникали новые побочные семьи. Только Глаша оставалась неизменно близкой и родной. И любила нас всех одинаково.

Глаша часто спит у моих ног. Иногда тихонько стонет. Возможно, ей снится родина. Например, мелкий частик в томате. Или сквер в Щербаковом переулке...

Не печалься, детка, все будет хорошо.

И прости, что у меня нет хвоста. (В Союзе был, и не один.) Прости, что у меня есть ботинки, сигареты и рассказы Фолкнера.

В остальном мы похожи. Немолодые раздражительные чужестранцы с комплексами... Сообща таскаем колбасу из холодильника...

Дочка Катя

Когда-то ее не было совсем. Хотя представить себе этого я не могу. И вообще, можно ли представить себе то, чего не было?

Затем ее принесли домой. Розовый, неожиданно легкий пакет с кружевами.

Любопытно отметить — Катино детство я помню хуже, чем свое.

Помню, она серьезно заболела. Кажется, это было воспаление легких. Ее увезли в больницу. Мать и бабушку туда не пускали. Положение было угрожающее. Мы не знали, что делать.

Наконец меня вызвал главный врач. Это был неопрятный и даже выпивший человек. Он сказал:

— Не оставляйте жену и мамашу. Будьте рядом...

— Вы хотите сказать..?

— Сделаем все, что можно, — ответил доктор.

— Пустите в больницу мою жену.

— Это запрещено, — сказал он.

Наступили ужасные дни. Мы сидели возле телефона. Черный аппарат казался главным виновником несчастья. То и дело звонили посторонние, веселые люди. Мать иногда выходила на лестницу — плакать.

Как-то раз ей повстречался между этажами старый знакомый. Это был артист Меркурьев. Когда-то они вместе работали. Мать рассказала ему о наших делах. Меркурьев порылся в карманах. Обнаружил две копейки. Пошел в автомат.

— Меркурьев говорит, — сказал он, — пустите Норку в больницу...

И мать сразу пустила. А затем и жене разрешили дежурить ночами. Так что единственное оружие в борьбе против советского государства — абсурд...

В общем, дочка росла. Ходила в детский сад. Иногда я забирал ее домой. Помню белую деревянную скамейку. И кучу детской одежды, гораздо больше предметов, чем у взрослых... Вспоминаю подвернутый задник крошечного ботинка. И то, как я брал дочку за пояс, легонько встряхивая...

Затем мы шли по улице. Вспоминается ощущение подвижной маленькой ладони. Даже сквозь рукавицу чувствовалось, какая она горячая.

Меня поражала ее беспомощность. Ее уязвимость по отношению к транспорту, ветру... Ее зависимость от моих решений, действий, слов...

Я думал — сколько же лет это будет продолжаться? И отвечал себе — до конца...

Припоминается один разговор в электричке. Мой случайный попутчик говорил:

"... Я мечтал о сыне. Сначала огорчился. Потом — ничего. Родись у нас мальчик, я бы капитулировал. Рассуждал бы примерно

так: сам я немного добился в жизни. Мой сын добьется большего. Я передам ему опыт своих неудач. Он вырастет мужественным и целеустремленным. Я как бы перейду в моего сына. То есть погибну...

С дочкой все иначе. Она нуждается во мне, и так будет до конца. Она не даст мне забыть о себе..."

Дочка росла. Ее уже было видно из-за стула.

Помню, она вернулась из детского сада. Не раздеваясь, спросила:

— Ты любишь Брежнева?

До этого мне не приходилось ее воспитывать. Она воспринималась как ценный неодушевленный предмет. И вот — я должен что-то говорить, объяснять...

Я сказал:

— Любить можно тех, кого хорошо знаешь. Например, маму, бабушку. Или, на худой конец — меня. Брежнева мы не знаем, хоть часто видим его портреты. Возможно, он хороший человек. А может быть — и нет. Как можно любить незнакомого человека?

— А наши воспитатели его любят, — сказала дочка.

— Вероятно, они лучше его знают.

— Нет, — сказала дочка, — просто они — воспитатели. А ты — всего лишь папа...

Потом она стала быстро взрослеть. Задавала трудные вопросы. Вроде бы догадывалась, что я неудачник. Иногда спрашивала:

— Что же тебя все не печатают?

— Не хотят.

— А ты напиши про собаку.

Видимо, дочке казалось, что про собаку я напишу — гениально.

Тогда я придумал сказку:

"В некотором царстве жил-был художник. Вызывает его король и говорит:

— Нарисуй мне картину. Я тебе хорошо заплачу.

— Что я должен нарисовать? — спросил художник.

— Все что угодно, — ответил король, — за исключением маленькой серой букашки.

— А все остальное — можно?! — поразился художник.

— Ну конечно. Все, кроме серой букашки.

Художник уехал домой.

Прошел год, второй, третий. Король забеспокоился. Он приказал разыскать художника. Он спросил:

— Где же обещанная картина?

Художник опустил голову.

— Отвечай, — приказал король.

— Я не могу ее писать, — сказал художник.

— Почему?

Наступила долгая пауза. Затем художник ответил:

— Я думаю только о серой букашке...”

— Ты поняла, что я хотел сказать?

— Да.

— Что же ты поняла?

— Видно, он хорошо ее знал.

— Кого?

— Букашку...

Затем наша дочка ходила в школу. Училась довольно прилично. Хотя ярких способностей не обнаруживала.

Сперва я огорчился. А потом успокоился. У талантливых — одни несчастья в жизни...

Катина жизнь протекала без особых драм. В школе ее не обижали. Я был в детстве гораздо застенчивее. Все же у нее имелся полный комплект родителей. К тому же — бабушка и собака.

Ко мне дочка относилась хорошо. Немного сочувствия, немного презрения. (Ведь я не умел чинить электричество.) Ну, и мало зарабатывал...

Как все ленинградские школьники, она была довольно развитой. Ей было известно мое отношение к властям. Если по телевизору выступал Брежнев, Катя следила за моей реакцией...

Она говорила мне:

— Зачем ты ходишь раздетый?

Видимо, я был ей физически неприятен. Может, так и должно быть. Детям свойственна такого рода антипатия. (Родителям — никогда...)

У нее стал портиться характер. Я подарил ей отросток кактуса. Написал такое стихотворение:

“Наша маленькая дочка,
Вроде этого цветочка —
Неприменно уколую,
Даже тех, кого люблю...”

В семьдесят восьмом году мы эмигрировали. Сначала уехали жена и дочка. Это был — развод. Хотя формально мы развелись за несколько лет до этого. Развелись, но продолжали мучить друг друга. И конца этому не было видно.

Говорят, брак на грани развода — самый прочный. Но мы переступили эту грань. Моя жена улетела в Америку, доверив океану то, что положено решать самим.

Дочка поехала с ней. Это было естественно. А я остался с матерью и Глашей.

Я не хотел уезжать. Вернее, знал, что еще рано. Мне нужно было подготовить рукописи. Исчерпать какие-то возможности. А может быть, достигнуть критической точки. Той черты, за которой начинается безумие.

И я остался. Мать осталась со мной. Это тоже было естественно.

После отъезда жены и дочери события развивались в ускоренном темпе. Как в романе начинающего автора, торопливо дописывающего последние страницы.

Меня отовсюду выгнали. Лишили последних заработков. Я все больше и больше пил.

Затем — какие-то странные побои в милиции. (Я бы воспринял их метафизически, не повторись они дважды.) Неделя в Калевской тюрьме. И наконец — ОВИР, таможня, венские сосиски...

Четыре года я живу в Америке. Опять мы вместе. Хотя формально все еще разведены.

Отношения с дочкой — прежние. Я, как и раньше, лишен всего того, что может ее покорить.

Вряд ли я стану американским певцом. Или киноактером. Или торговцем наркотиками. Вряд ли разбогатею настолько, чтобы избавить ее от проблем.

Кроме того, я по-прежнему не умею водить автомобиль. Не интересуюсь рок-музыкой. А главное — плохо знаю английский.

Недавно она сказала... Вернее, произнесла... Как бы это по лучше выразиться?.. Короче, я услышал такую фразу:

— Тебя наконец печатают. А что изменилось?

— Ничего, — сказал я, — ничего...

С. Довлатов — писатель и журналист, автор книг "Невидимая книга", "Компромисс" и др. и многочисленных рассказов и статей, на Западе с 1978 г. создатель и первый редактор газеты "Новый американец" (Нью-Йорк)

Саща Соколов

ПАЛИСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, А, ПАЛИСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ?..
(страницы из романа "Палисандрия"*)

Внучатый племянник сталинского соратника Лаврентия Берии и правнук виднейшего сибирского прелюбодея Григория Распутина, обласканного последней русской царицей и таким образом расшатавшего трон, автор публикуемых воспоминаний Палисандр Дальберг (XX – XXI в.в.) прошел по-наполеоновски славный путь от простого кремлевского сироты и ключника в доме массажа правительства до главы государства и командора краугольного ордена.

(Из предисловия
"От Биографа", год 2752)

как наивная барышня из чудесной провинциальной семьи, приехавшая в столицу на выходной причаститься шекспировской страсти, — та самая барышня, что с вокзала обольщена артистическим прощельгой, ничтожнейшим щелкопером, свезена в номера и обманута; и в боренье со временем отомстительно сыплет гребенками по все новым случайным подушкам, в сумятице закулисных оргий приискивает сомнительного тепла — не находит — тревожится — посматривает на часы и, все-таки опоздав на поезд, является сверить их в густопсовой среде дрезинщиков из числа демобилизованной солдатни — и уже в дрезине, утратив остатки скромности, но не сняв впопыхах фильдеперс и ничуть не чураясь самоновейших фривольностей, лихо-радочно плещется в истечениях животворящих влаг, достигая

* Полностью роман будет опубликован в издательстве "Ардис" осенью 1983 года

тем самым катастрофы своего возмездия, наверстывая упущенное и поспевая в родительскую обитель в наказанный срок, — так и я же: обманут, задет в лучших чувствах, разочарован, — кипел и безумствовал, юношествовал и дерзал

поэтому нынче, когда какие-то вялые, изможденные голоса негромко, но внятно зовут вас по имени-отчеству, а на всей перспективе бульвара, как вам, дальноркомому старику, представляется — ни души, не убеждайте себя, что сегодня вы попросту не в себе, не выпались, утомлены или гонимы, и что, в сущности, это никакие не голоса, а лишь вспорхи и перепархивания пернатых выводков в кронах очаровательно, что там ни говорите, разнообразных и долговязых деревьев нашей эмской провинции, а лишь ненавязчивый и бессвязный лепет подземных вод, а только шуршание пресловутого листопада, выпадающего в осадок дождя или выпавших из плевательниц облигаций казенного золотого займа — не убеждайте

и ради Бога не сетуйте на слуховой аппарат, и кусочками ваты, накрученными на спички, не ковыряйте в ушах — не поможет, ибо если вы даже проткнете себе в сердцах барабанные перепонки, то и тогда голоса не угаснут: вы будете слышать их не ушами, но — как слышал оглохший бетховен свои хоралы — всем существом
вот, опять — и опять по имени-отчеству: палисандр александрович, а, палисандр александрович — отзовитесь

да-да, отзовитесь, а то никогда не угаснут и, словно пернатые выводки, станут клевать вам коленную чашечку вашего черепа
палисандр александрович, помните? — помните?

будьте же, сударь, мужчиной, каковым вы претендовали быть в те бесславные заливчатские поры — не трепещите, ведь это не более чем голоса, а верней — отголоски тех глоссолалий, истошных сладостраданий, любовных одышек и блудливых речей, которые вас некогда столь умиляли — вас, тогда похотливого хохотливого жеребца, а теперь плешивого и сентиментального мерина
словом, внемлите и возражайте: да, я — палисандр александрович дальберг, уважительно прозванный своим благодарным народом палисандром которым

и это именно я, который, стою на бульваре, взволнованно опершись на чугунный с брильянтовым набалдашником зонт, что

в тысяча пятьсот восьмидесятые годы метнул в своего непослушного недоросля иван васильевич грозный, один из моих кремлевских предтеч

зонт, а вместе с тем — посох, причем отличнейший: и остер, и увесист — таким, доведись, не то что от сына — от своры собак отобьешься

простите себе эту горькую самоиронию, но с чем идти по миру вы уже обрели

но не теперь, потерпите, такое всегда успеется, нынче — время бестрепетно отозваться взыскующим голосам: да, кажется, припоминаю, однако не все и не досконально

еще бы, еще бы вы удержали в памяти всех поверивших вам старушек — из тех, что имели обыкновение гулять аллеями новодевичьего

и не только: войдя во вкус, вы позарились и на скорбилиц ваганькова, и на изысканных, утонченных дам даниловского колумбария, и на маститых вдов переделкинского погоста

а после, когда примелькались и эти лица, вас отнюдь не смутила разница вероисповеданий — повадились на немецкое, греческое, еврейское, на исконные вотчины прочих национальных меньшинств: не для вас, удалого охальника, писаны были сакраментальные тексты

впрочем, надо отдать вам должное, вы никогда не склоняли к прелюбодеянию насильственно, и взыскующие голоса готовы свидетельствовать об этом

иначе за что бы они обожали вас — до сих пор — вас — матерого вертопраха — зачем бы шептали: а помните, помните? — о, они! — охмуренные вами печальницы — набожные божьи коровки — квелые одуванчики — прирученные и покинутые зверушки — и на кого же, подумайте — и навсегда

странно мыслить: они уже все не здесь — до единой; ведь и тогда наиболее молодой — непростительно молодой из них основательно перевалило за пятьдесят

и сначала вы даже не обратили — почти что не обратили внимания на нее, почти уже прошагали мимо, даже и прошагали, но, умозрительно приглядевшись, вернулись представиться

ей всплакнулось над свежей

могилой сына, что, судя по эпитафии, был какими-нибудь десятью-одинадцатью годами постарше вас — и то ли его переехала конка, то ль что — всякое, знаете ли, случается — и вы принялись сочувствовать, начали принимать в ней участие, и т. д.

ну да, разумеется, она была не вполне в вашем вкусе, однако охранники с колотушками уже приступили к обязанностям: дело шло к закрытию заведения, посетительницы рассасывались и выбора практически не оставалось

и вы сразу обволокли ее преданностью, защекотали щеточками фальшивых усов, усладили мягкими прикосновениями

и не успели еще просохнуть ее материнские, как уже навернулись слезы желания, и она закачалась у вас на бедрах, восхищенно изнемогая от той энергичной участливости, с какою входили вы в ее обстоятельства оренбургский пуховый платок, которым на зиму глядя она прикрывала седины свои и плечи, стеснял ее, и она развязала его и бросила на зубья ограды

и он повис на них, зацепившись

а когда вы прощались, она целовала вам руки, упрашивала попустить ей неопытность, неумелость — умоляла не забывать — назначала свидания — дарила что-то на память — как все они, впрочем, как все

вот именно, в том-то и состояла беда этих разноплеменных доверчивых душ, что, несмотря на раскосость и явную искаженность целого ряда черт, вы обладали каким-то нечеловеческим шармом, вы были, если хотите, харизматичны, и брикабракков, пожалуй, не врал, что насельницы новодевичьего монастыря почитают вас таким лапушкой, душкой, лямуром — вы были харизматичный лямур, серафим, ангел грешный — вы были, милейший, старушья присуха, смерть — и они, заскорюзлые, грустные души в обносках тел, зачарованно поступались честью — все до единой, даже и те, что уже и не понимали, зачем и как это следует делать

или не помнили

погодите, ведь многим нечего было и вспомнить: их-то, ветхих христовых невест из числа целомудренных бабушек, певших в церковных хорах, и монашек в миру — их вы могли бы и не приручать, не будить им небуженного — хотя бы из

чисто отвлеченного гуманизма — разве вы не читали о нем? или свечение отроческого ночника вправду было неверным?

а все эти нищие инвалидки, паралитички, юродивые — то есть каким же образом вы, бело-ручка, брезгливец, сноб, позволяли себе такие сношения?

а таким, что якшались с указанным контингентом только в особых каучуковых перчатках, соответственно облачая и альтер эго, что само по себе и не ново, и имеет гигиенические резоны, привносит разнообразие, но, право же, моветон

органы же дыхания — рот и нос — защищались своеобразной чадрой вроде ламбертовской: потомок известного палача и сами в известном смысле порядочный изверг, вы тоже нередко орудовали в марлевой маске

среди остальных причиндалов, что постоянно носились с собой в небольшом несессере, не следует упускать из виду склянки с импортным мирром и вазелином, которые вы использовали в особо запущенных случаях

свежа ли, к слову сказать, в вашей памяти та горбатая и придурочная побируха с задворок преображенского, провидица без определенных занятий, которая вся пропахла подпольем, поскольку жила в нем?

свежа — или тоже заплесневела?

абонируя в сем вертепе угол за ширмой, вы содержали в нем три-четыре своих выходных наряда для выхода в свет, для сумеречных и ночных походов

сняв, бывало, служебное и надев вечернее платье, а также парик и приличные туфли, вы там поистине преображались

естественно, вы ничего не платили старухе за беспокойство: она довольствовалась теми минутными радостями, которые вы ей нет-нет да оказывали на кованом, крытом ветошью, рундуке, что служил ей ложем

но радости эти оказывались столь велики, что в миг содроганий она не выдерживала и выделялась в астрал — покидала убежище тела

тело, образно говоря, выдыхало ее из себя и, выдохнув, становилось еще щедрее, усыхало — заметно тускнели и останавливались глаза, и выхоленной напрочь мошонкой свисала грудь

но самое любопытное происходило с горбом: он проваливался, западал — так под нашей ногой западает болотная кочка или что-нибудь в том же роде: какая-нибудь педаль

и когда обительница водворялась обратно, сложнее всего ей бывало протиснуться именно в этом месте

да и в целом, оставленное на минуту, тело приходилось бедняге не в пору, невмочь — ей приходилось его разминать, разнашивать, по-станиславски вживаться в него, как в забытую роль

находясь в тех, по-видимому, не столь отдаленных местах, куда она отлучалась и которые называла: поля ожидания, горбунья встречалась с умершими, видела то, что было, что будет, и то, чего никогда не было и не будет

что было — вы знали из тысяч прочитанных мемуаров и летописей не хуже других, а ведать, чего не было и не будет — не значит ли волноваться попусту

поэтому вы интересовались лишь будущим — да и то между прочим и вскользь: дескать, будет ли

отчеты вашей соительницы были лукавы и темны, словно евангелие от луки, но в принципе выходило, что будет

только в одно из ваших последних преображений старуха высказалась определеннее, посулив вам казенный дом, дальнюю дорогу, чужбину, мороку и хлопоты и любовное догробовое томление по малолетней

все перечисленное, а томление по малолетней — особенно, не вписывалось в ваши проекты нимало, и, не поверив пророчеству, вы испуганно расхохотались на весь подвал, которым уже начинали пахнуть и ваши параферналии

бросив их на вечное попечение вещуны, вы справили себе более модные и стали преображаться по новому адресу

век ее, впрочем, продлился недолго; случайно встреченная на кладбище внучка ее, имевшая на вас свои тщетные виды, порывисто сообщила, что бабушка окончательно отлетела

бедолага лукерья кузьминична, как-то вам можется там, в пустырях ожидания, произрастает ли в них хоть какая былинка — хоть

лопушок — хоть цветок побежалости: не молчите, подайте весть
пали-
сандр александрович, а, палисандр александрович, а помните, как
вы стали захаживать к нам, многоюродным вашим теткам, и как
мы доверились обаянию вашего отрочества, и как вы не то чтобы
не оправдали доверия, но как бы превратно истолковали его?
а ведь мы,
палисандр александрович, ждали вас годы и годы

вам должно быть из-
вестно, что в дом, где вы появились на свет и жили, мы не были
вхожи, но вследствие родственных слухов знали, что где-то в нам
недоступных чертогах растет способнейший якобы мальчуган —
мальчуган-вундеркинд — гений чистой воды, который когда-нибудь
вырастет и удосужится навестить своих дальних и как-то не слиш-
ком достаточных родственниц

нет, судьба нас не жаловала излишествами; перио-
дически мы считали копейки и сетовали друг другу, что, дескать,
мечтаешь на похороны прикопить, да все на лекарства тратишь —
но, истые институтки, мы вынесли из своих пансионов и классов
любовь к добродетели и девизы: вперед — выше голову — не под-
даваться унынию

незамужние сестры, мы двигались разными тропами, но навстречу
единой заре — мы шли, взявшись за руки, и скромность предпочи-
тали бесчестию, чем бы это последнее ни вуалировалось

и пускай мы знакомились с не-
которыми из порядочных молодых людей, и некоторые из них
производили довольно благоприятное впечатление, однако при
этом никто никогда не переступал известной грани, черты, а если и
выискивался иногда излишне самонадеянный кавалер, то он не-
медленно получал поделом

но вам должно быть также известно, что дни нашей молодости ми-
нуются исподволь, словно волны, и как-то вдруг понимаешь, что
только несколько теплых очаровательных встреч по-настоящему
памятны, живы, непреходяще волнительны

словом, вот мы и не заметили, как зачистили
на дороге могилы, навещая ушедших подруг

и все чаще мы, сестры, соби-
рались своими неприятельными кружками — вязали, штопали,
стряпали, играли на клавесидах, в лото, отмечали чьи-нибудь име-
нины и вспоминали, как жили прежде

и что бы вы думали?

выходило, что жили мы славно: трудились, мечтали, верили, пестовали идеалы — мы жили, как все, палисандр александрович, и грех нам жаловаться

и мы не понимали вашей прямо-таки бериевской иронии, когда вы, являясь на наши девичники, говорили, что вечно блуждаете в наших головоломных проулках и что наш ностальгический быт элегически затерялся в кривоколенных и староконюшенных подворотнях

зачем вы так говорили — нам были обидны уколы ваших фигуральных иносказаний: мы жительствоваали во все не в этих улицах, а в совершенно иных — в мещанских, если угодно, в тверских-ямских, в грузинских — правда, и тут с непривычки, наверное, заплутаешь: таблички на зданиях выцвели, дворников рассчитали, рожки в коридорах выкрутили, от кошек проходу нет

нет, право, купишь, бывало, колбаски, вывесишь к вечеру за окно, а зарею посмотришь — авоська пустая висит: вот и крутись, как знаешь

но лучше бы он совсем потерялся — пусть вовсе бы сгинул, наш быт, совершенно, чтоб вам, палисандр александрович, никогда не найти к нам дороги, чтоб нам никогда не встретиться — не сойтись — не обмолвиться словом — вы слышите, гадкий мальчишка

ах, господи, как вы нарушили нам престарелый покой, ведь это же просто невероятно: годами, буквально годами ждешь учтливового благовоспитанного племянника — сына, может быть, неродного, но незабвенного брата, и вдруг — нате вам: заявляется фанфарон и бретер, фат и циник с замашками ломового извозчика

и наиболее возмутительно то, что вы решительно не желали меняться к лучшему, перенять хороших манер

так, стоило нам тактично заметить, что потому-то и потому-то не следует делать то-то и то-то, положим — качаться на стуле, поскольку портится дорогая вещь и царапается паркет, и затем вы рискуете сверзиться и размозжить себе мозжечок; или, скажем, курить, потому что от этого происходят мигрени — как вы сразу в падали в форменную эпилепсию

вами овладевали типичные достоевские бесы —

— конвульсии — вы принимались кататься по полу — душеразди-
рающе хрюкали — хохотали — лаяли, а когда мы бросались вы-
звать карету скорейшей помощи, вы спокойно вставали, отряхи-
вались и заявляли, что все прошло и кареты пока не требуется
такое фиглярство!

а мы по своей доверчивости
столь опасались за ваше здоровье — не дай Бог что случится: с
нас же и спросится — что слово потом уж боялись вам поперек
сказать

а вы стали пользоваться этим в своих интересах, взялись помы-
кать, командовать нами, покрикивать, вынуждали нас пить спирт-
ное, петь уличного разбору песенки и заучивать наизусть вульгар-
нейшие куплеты вашего собственного сочинения, которые вы без-
застенчиво называли пьесами

никогда не забудутся строки одной из них — самой
с виду невинной, а на поверку донельзя уничижающей вкус и
достоинство одинокой женщины беспримерной двусмысленностью
одиножды один — шел гра-

жданин

дважды два — шла одна вдова

трижды три — в квартиру вошли

четырежды четы-

ре — свет потушили

пятью пять — легли на кровать

шестью шесть — разделся весь

семью

семь — раздел ее совсем

восемью восемь — еще его просит

девятью девять — при-

ятно ей ведь

извините нас, палисандр александрович, но здесь нет ни
толики вдохновения — ни толики, не говоря уж о бледной риф-
мовке, и если вы вправду прослыли в кремле вундеркиндом, то,
видимо, в некоем ином отношении

вообразите же, каково было нам, с гимназических пор
упивавшимся надсоном, гейне, бальмонтом, зазубривать, а затем
декламировать приведенную низость, каковую вы полагали своею
программной пьесой — причем декламировать с выражением, с
подвываниями — ведь вы настаивали на них, настаивали — не
отпирайтесь

о, как мы наплакались, исстрадались

однако ж стихами дело не кончилось — ах, если бы, если бы -- ибо то было только начало, азы нет-нет, мы не смели послушаться, мы ходили у вас по струнке, иначе вы начинали пощелкивать себя по носу — часто-часто, палисандр александрович, часто-часто, словно вы были какой-нибудь пересмешиком, желавший передразнить дрозда

дрозда или барабанщика, отбивающего барабанную трель, и звук пощелкиваний, между прочим, казался пугающе звонок, будто бы вы стучали не по носу, а прямо по перепонкам

то был признак какого-то внутреннего треволнения, грозящего перерасти в неумную бурю и натиск — и мы не смели послушаться, мы не смели, хотя однажды имели неосторожность спросить: отчего — отчего вы так делаете?

оттого, отвечали вы, горячась, что в детстве мне на нос упала гиря от ходиков — представляете?

бедный малютка! какое несчастье — мы ничего об этом не знали, нас не уведомили, простите простите?

мне не в чем винить вас — ни вас, ни кого бы то ни было: было стихийное бедствие — перетерлось связующее звено и распалась привычная цепь времен, вот и все — только ведайте: ваш племянник перетерпел, перенервничал, судьба распорядилась им негуманно — и ведайте также, что с колыбельных лет переносицу ему заменила платиновая пластинка, что вследствие происшедшего он лишен возможности наслаждаться течением времени, тиканьем его адептов — часов, и особенно ходиков — всех эпох и конструкций — ибо он ненавидит — бежит — или же сокрушает их — на бегу

и словно громадная кошка вы кинулись вдоль этажерок с фарфоровыми статуэтками и хищнически принялись срывать со стен наши чудные антикварные ходики, которые мы буквально годами скупали в комиссионных, коллекционировали и дарили друг другу на вечную память

вы срывали, швыряли их на пол и тщательно плющили каблукками своих потешных гренадерских сапог — вы были немилосердный варвар, вандал, и зазубренные колесики, милостивый государь, раскатились по вашей милости так, что даже и не собрать

не отчаивайтесь,
кричали мы вам печально, как чайки, отныне мы ведаем, и мы со-
жалеем, скорбим вместе с вами

не в силу ли вышеуказанного, ки-
пятились вы, не затем ли не смог он пойти по стопам предков и
родственников, стать достойной им сменой, продлить замечатель-
ную традицию, но вынужден был подвязаться по классу гробоко-
пания и кремации

разумеется, палисандр александрович, разумеется, в силу —
такая нелепая несправедливость — кремация — ужас

и если вы до сих пор
удивляетесь, отчего я так делаю, то учтите, что делаю так потому,
что не в силах не делать, ибо это так называемый тик, а поскольку
причина данного тика так связана с часовыми приборами, то по-
просил бы его называть точнее — тик-так

тик-так, палисандр александрович,
безусловно тик-так, как же иначе

однако весьма заблуждается тот, вскло-
котали вы сызнова, кто считает, что ваш племянник воспитан в ду-
хе сиротского эгоцентризма и позволяет себе тик-так в отношении
себя единственно

и тогда, приблизясь, вы вдруг и больно-таки пощелкали те-
тушек по переносицам их, только звук оказался не тот, что у вас:
был не звонок, не перепончат, будто звучали мы под сурдинку,
пиано

и верите ли, мы поймали себя на том, что немного завидуем вашей
платине — уж чего там греха таить, все — люди, всем хочется по-
барабанить порой погромче

ну, а теперь, приказали вы, подымите руки,
кто читывал петербургскую повесть нос гоголь-моголя
мы все подняли руки, хотя нам стало как-то неловко за николай
васильевича, что вы его несколько походя очернили: ведь как-
никак, а уважаемый автор своих собраний, писал человек, не ле-
нился, но мы не смели и тут возразить, палисандр александрович,
просто не смели и, чтобы польстить племяннику, стали и сами
вольничать — расхижились, расшалились, словно бы в классах:
дескать, у николая васильевича у самого нос был длинный

ха, только ли
нос, дорогие тетушки, только ли нос, отвечали вы нам, недостойно
подмигивая

мы зажеманились, засмутились: ну что вы, право, конечно же только, да мы и не понимаем таких намеков — ведь правда, девочки?

а напрасно, напрасно не понимаете, наставляли вы, ибо не только сказка, но и любая литературная небылица содержит подспудный подтекст, и поэтому всякое образованное правительство цензурировало и намерено впредь цензурировать вверенных ему графоманов, а то правительство, которое наивно воображает, будто герой петербургской повести нос мапор ковалев в самом деле остался без носа, — есть полное дура

нос, сударыни, — только тонкий намек на толстые обстоятельства, эвфемизм-с: незадачливого мапора покинул не нос, а — что-с?

фуй, какой вы шалун, палисандр александрович, да ну вас, действительно, давайте мы лучше о петербурге поговорим — о городе в целом, у нас масса открыток с видами этой столицы — проспекты, ансамбли, памятники, пилястры — сядем, будем рассматривать, вспоминать имена архитекторов, инженеров, прорабов — да сколько бронзы пошло, да гранита, да извести — да при ком возвели — да зачем — да сколько рабочих погибло — да чаю согреем

э, разве это открытки, — взглянули вы искоса

палисандр александрович, а карты, карты, пасьянсом так хорошо коротается вечер, что хочется, чтобы он никогда не кончался — вы знаете это чувство, не правда ли — никогда

тоже мне — карты (вы холодно тасовали колоду), и не скучно вам так-то, с такими то есть картинками, ведь с тоски удавиться можно, вот я вам, дескать, свои принесу — — тогда и сыграем

и на следующий наш сестришник приносите вы такие уж мерзопакости, что мы даже не мыслили, что подобные вещи вообще практикуются

от стыда за этих негодников, в особенности за дам, с нами сделалась удивительная апатия, вялость, и мы просто сидели все тихо рядком и рассматривали

затем мы чего-то разволновались, разнервничались, вино стали пить, пустились раскладывать, рассуждали, что вот как, оказывается, возможно — и так, и эдак, валет, мол, сбоку, король с припеку, а дама, бедовая ее голова, во все тяжкие —

ералаш да и только

а вы нас все анекдотцами потчуете, и все про аптеку да про аптеку — ну, скажем, заходит, якобы, иностранец в аптеку корыто купить и — провизору: заверните, пожалуйста, этот резервуар; а провизор — такая, по-видимому, ехидная, желчная — а резерватив, говорит, не желаете?

вздор, конечно, безвкусица, а все равно: терпишь-терпишь, да вдруг как зальешься, знаете ли, до коллик а после, когда мы уж сами себя не чужали, вы приказали нам поиграть в дочки-матери — помните? — помните?

некоторые из нас не послушались, уселись за клавишин да и бренчат себе некую чепуху опереточную, четверти что-то такое на три — жили-де у бабуся веселые гуси — аллегро а прочие — они стали несколько нянчить друг дружку, словно мы все были маленькие, несмышленные — да мы ведь и были, мы впали в далекое близкое, в невозвратное, впали, если угодно, в бирюльки — мы выпали из ума, из воли, вернее, вы отняли их у нас — ах, недаром, недаром мы находили в вас столько распутинского очарования нянчим, значит, себя, пеленаем, бай-бай укладываем, на горшочек не забываем сажать — вы же присматриваете, наставляете, учите неумех уму-разуму, а раскаприжняемся, напроказим — то ата-та, ата-та нам, а зачастую и в угол

поначалу-то все из-под палки, исподволь, а после так разыгрались, в этакый раж вошли — прямо куда там: не зря говорится, что время все лечит

а тут и доктор стучится: тик-так, тик-так; то есть не в полном, конечно, значении — медик, а вы, наш племянник, только переделались с дороги: бородку себе приклеили чеховскую, простынку на плечи набросили — чем не врач

вызывали?

тик-так, вызы-

вали

тогда раздевайтесь

и распеленали для вас, палисандр александрович, матери дочерей своих, и раздели дочери матерей, и вы стали их пользуеть

вставили вы себе, понимаете, лупу какую-то в глаз и объясняете

по-научному: будем пальпировать

и так это нелицеприятно, знаете ли, безапелляционно причем
и стали

их всех пальпировать, то есть прощупывать — у кого что не так,
щупать, в сущности

помните, как мы визжали, чертяка, пока не привыкли —
щекотно же

а которые за клавишином, те тоже себе разыгрались: а
ну-ка, дескать, а ну-ка, у бабушки было три внука, вот так шту-
ка, тра-та-та

и правда, что штука: лежим мы рядом, извините за откро-
венность, в одних лишь трико разноцветненьких, а нам не то что
не стыдно, проказник вы наш, и не то что не совестно, а как бы
наоборот — любопытно: чем дело-то кончится

и не успели мы, в общем-то,
сообразить, что к чему — как оно уж и кончилось

ну, не разом, конечно,
не мигом: сначала мы по девичьей привычке — в амбицию, мол,
помилуйте, деточка, что же вы это себе позволяете — некрасиво,
нелепо, у нас возрастная пропасть, вам рано, а нам по всей ве-
роятности, поздно — и по рукам, по рукам вас, чтоб впредь непо-
вадно было

а вы говорили, бородкой-то чеховской нас щекоча где не след:
в течение профилактических процедур пациентам категорически
воспрещено противиться — отвлекитесь — забудьте — считайте,
что все понарошку, что все суета сует — тик-так

тик-так, палисандр алексан-
дрыч, тик-так

и забылись — разнежились дочки-матери
малохольные: уступили

да, славную задали вы нам профилактику, милый
доктор, уважили, называется, на закате лет — только жилы по-
хрустывали

вылечить, может быть, и не вылечили, но разделали под орех; ка-
кое уж тут понарошку, когда по всей форме использовали — да и
не один, если вдуматься, раз

и ведь верно вы декларировали, что еже-
ли семью семь, то считай, что полностью: совершенно вы нас это
самое — до нитки разоблачили

и восемь восемь точно: впоследствии клянчили

да заискивали: еще бы разочек, а, доктор, еще бы — ведь девятью девять, чего там греха таить

 правда, насчет шестью шесть вы, наверно, неверно высчитали, поскольку сами-то — не разделись: как были при бабочке, так и были — ни дать ни взять гиппократ

 и даже рецепт на прощение выписали: процедуры практиковать два-три раза в неделю и лихо так

расписались внизу: доктор фрейд

 ну и пролаза, думаем

 а потом вы нашли в прихожей на вешалке дирижерский, еще деда нашего, фрак — надели — пришили к лацкану объявление: настройка запущенных инструментов — и направились к тем из нас, которые упражнялись на клавишине, наивно себе полагая, будто буря их миновала: напрасно радовались — досталось умницам на орехи

 только, стало быть, проводили вас к инструменту — струны там, что ли, расстроились, перетянуть бы — так сразу вы им и задали по концерту — для скрипки, понимаете ли, со смычком: потягуси по-вашему

 в такое тремоло их всех чохом вогнали — только держись

 поделом же им, рохлям доверчивым, будут знать, палисандр александрович, как с вами, настройщиками, дело и меть

 музыкантам вы также толковую инструкцию прописали — у самых уже дверей; инструмент регулярно смазывать — бах! — и только мы вас, вундеркинда, и видели погодите,

да вы же растлили нас — обесчестили — лишили всякой невинности: немедля вернитесь и попросите прощения — вы слышите? — нет, даже не обернется

 а ведь годами, годами

 а еще, если помните, где-то в сокольниках, в марьиной роще и на бегах поживали себе проживали другие из нас — тоже более или менее многоюродные — те, кого вы приворожили не на дому, а на кладбище, где они, то есть мы, разумеется, мы навещали ушедших друг

 и поверите ли, мы тоже ждали годами, априори не чая в вас ослабевшей души, и не чая уже увидеть

но вы приходили

вы возникали обычно в сумерках, перед закрытием, в пору, когда очертания предметов призрачны, а черты отлетевших особенно милостивы и памятливы — в час, когда наши склонившиеся над их вечным приютом фигуры, повапленные ниспадающей бахромой оренбургских пуховых платков и архангельских шалей, нисколько не отличимы от безутешных, горящих вместе с нами плакучих ив — о, нисколько — и наш старушечий лепет вплетается в лепетание их листьев и в копошение отходящих ко сну птенцов, что гнездятся в их дуплах — и черные наши ленты вплетаются в их побеги, в их косы — и наша плоть одевается их заскорузлой корой — и течение нашей крови свивается с холодными струями ивовой сукровицы — и свиваются наши судьбы и сроки — о нет, палисандр александрович, — неотличимы — нисколько

но вы отличали нас, потому что являлись нам в образе палисандра — всегда и беспечно цветущего розами дерева роз — чрезвычайно ладного, гибкого, сладостно веющего благодатью негаснувших вечеров нашей юности — тех томительно будоражащих, знаете ли, вечеров, предвечерий, в которые, кажется, недостает только крыльев, дабы взлететь — воспарить — взметнуться, однако в саду есть качели — и можно, зажмурив глаза, воздыматься и падать, и падать и воздыматься, а где-то играют ноктюрны, в триктрак или просто беседуют, расположившись в плетеных креслах, а на пруду — скрип уключин, и кто-то прислал вам записку — но вы, вне сомнения, никуда не пойдете — но вы замечались улыбочиво, смотрите на облака — и вот тут-то в цветное стекло витража ударяется шумный жук — вы вздрагиваете: майский или июньский?

лукаво не мудрствуя, глянешь на чистенник и поймешь: если май — значит, майский, а если июнь — непременно июньский

но вечером тридцать первого мая — кто знает: такая неразбериха, сирень

вы помните, сколько дискуссий на эту тему горело в кружках учащейся молодежи, особенно вольноопределяющейся: не спорьте, голубчик, это типичный майский — неправда, июньский — а я вас смею уверить, что майский — сами вы, братец, майский — а вы, а вы

и уж непременно стреляться

а какие страсти кипели в среде разночинцев, и

сколько там было вольнолюбивейших идеалистов, романтиков, незамутненных сердец

вы помните? — где-то, когда-то, в каком-нибудь неопределенном уезде, когда вы только что поступили на курсы — или закончили их — или приехали на вакации, в доме родителей, кажется, в левом крыле, нанимал квартиру один перманентно всклокоченный телеграфист — страшный щеголь, и это, естественно, он посылал вам записки

да-да, посылал-посылал, а потом уложился, упаковался — и в тулу, и мы никогда уж не виделись — никогда: в тулу, кто бы подумал

ах, ничего-то вы, сударь, не помните, вас ведь тогда еще не было; впрочем, являясь нам в образе палисандра, какие живые детали былого умели вы навевать, утешая словами листьев, лобзая губами бутонов и вдруг — утоляя наши печали нектаром пестиков

но пробуждение!

оно застигло подобно форменному кошмару — врасплох

под утро, когда все чары рассеивались, мы вспоминали, что вот, вечер, перед самым закрытием, вы подошли к нам в обличье мастерового с предложением обычных услуг: подновить ли ограду, поправить ли покосившийся крест: что, мамаша, потрафим усопшему?

а мы все отказывались, отстранялись, а вы все настаивали, приступали и, очаровывая, сулили прелестное

вам, говорили вы, будет приятно

вы ужасно интриговали нас, молодой тогда человек, мы, признаться, млели от любопытства, и вместо того, чтобы звать бродивших в окрестностях сторожей, чтоб они колотили вас колотушками, — в ужасе — в каком-то радостном ужасе — мы соглашались

на все

и когда это все начиналось и длилось, а длилось оно всю ночь, мы, желая идеализировать ситуацию, предавались иллюзиям, фантазировали: мы — ивы — ивы — согбенные ивы, а он — палисандр — палисандр — палисандр, веющий благодатью негаснущих вечеров

и, впадая в патетику, отдавались душою и телом — подобострастно

однако под утро все чары рассеивались, и мы обнаруживали себя в обстоятельствах крайне стеснительных, скомканных, непоправимых

нам открывалось, что мы никакие не ивы, а вы — никакое не дерево роз, и пуховые наши платки сиротливым укором висели на так и не выпрямленных крестах и на зубьях так и не выкрашенных оградок

вглядитесь же, не на этих ли акмеистских скамейках кладбищенского бульвара, где вы поставили себе прижизненный монумент в виде себя самого, оперевшегося на сложенный зонт, — не на этих ли, говорим мы, скамейках вы юношествовали с нами до зеленой зари — с нами, вашими горделивыми тетками, жившими некогда в театральном проезде, в старообрядческом переулке и на собачьей площадке

о! о такой ли заре мы мечтали, с энтузиазмом мужествуя с непогодой, борясь и шествуя в едином строю, палисандр александрович — а, палисандр александрович, — тормозили мы вас, — проснитесь, это становится невыносимо, у вас омерзительная наследственность: вы всхрапываете, словно сибирский прадед григорий — навзрыд

ничего не скажешь — хорош, наградил бог племянничком

слушайте, да отдаете ли

вы себе хоть малейший отчет в происшедшем?

превратно истолковав их доверие,

вы совершили массовое растление престарелых, и пусть мы не знаем и не желаем знать, о чем гласят соответствующие статьи уложения о наказаниях, ибо мы не из тех, кто выносят болячки чести на поругание стряпчим, имейте в виду: вам зачтется

увы, скрепя сердце,

мы все пожалеем мальчика и, конечно, простим, пожурив, потому что мы любим — мы до сих пор обожаем его, сына наших довольно-таки отдаленных, но все-таки родственников

и пускай он не пощадил одинокой

старости нашей, он, наверное, тоже привязан к теткам — не правда ли, хоть немного, по-своему — так хочется верить — признайтесь — ведь да — так кивните, кивните, подайте нам знак согласия, непременно должна быть некоторая взаимность, к тому же у вас все равно никого, кроме нас, не осталось, учитите, что вы — сирота и нуждаетесь в ласке, в опеке — так навещайте нас, навещайте, право, — мы больше не гневаемся — мы простим — по-

жалею — вспомним прежнее — поиграем: во что-нибудь эдакое

милый, милый— о, милый писали мы вам

и плакали прямо на буквы
ну, что же

вы не приходите, бывший мальчик — чугунный старик — безобразник противный: годами, буквально годами

а клио, о которой вы отзывались не слишком почтительно, уверяя нас, будто ее-де кобыла стоит на кремлевской конюшне, и некоторые учащиеся благородного ремесленного училища келейно используют ее в своих низменных интересах, — клио также скрепит свое сердце

ах, музыки, музыки, все они — наши сестры, горькие и заезженные существа вроде нас: незлобивы, отходчивы клио тоже простит, палисандр александрович, простит и остынет — и позабудет, ручаемся — и возвеличит

только вы-то, вы сами — разве забудете? разве гарпии совести не превратят преклонные ваши дни в сплошные терзания?

всенепрерывно, любезнейший, всенепрерывно, причем уже это делают, ибо преклонные дни наступили, и мы — клевет гарпий: зачтется, зачтется — воздастся

признайтесь-ка, кстати, скольких вы совратили, бесчестный оборотень, — доверьтесь, доверьте нам наше число по секрету, исключительно антр ну — да ну же, честное пенсионерское — никому, в самом деле, польстите нашему любопытству, побудьте хоть раз откровенны, а то — заморочим, не станем давать покою даже ночами, как вы не давали нам

лишь вдумайтесь: не только белые дни, но и синие ночи отчаяния

слышите? дайте отчет и раскайтесь. иначе мы осеним вас своими крылами

раскаяться? — отвечали вы, — хоть сто раз, как говаривал мой до боли знакомый, однако ваше число не поддается учету

и продолжали

вы знаете лопе де вегу? когда-то он был молодежным идолом, пьесы этого блистательного графомана шли на многих столичных театрах, и многие почитали долгом хоть раз причаститься его

страстям, в каком бы глухом захолустье ни жительствоваали успех драматурга весьма не случаен: перу его принадлежит до полутора тысяч скабрзнейших водевилей; перьям же им соблазненных особ — сборник довольно претенциозных и ему адресованных писем — по одному от каждой, который лопе со вкусом составил и под хлестким названием *me gusto de vega* — издал

когда мы с его земляком и величеством королем хуаном прощались под гулками сводами чамартина, то все не могли припомнить — не помню уж, почему он затронул столь узкую тему, но, видимо, для него, не лишнего собственных литературных исканий, она была актуальна — припомнить количества тех посланий

тогда-то и было заключено пари, известное нам теперь по учебникам как мадридское, или — что более точно — вокзальное

ниже — его условия вкратце

та из высоких (король тоже, кстати, верста был коломенская) договаривающихся сторон, которая, не прибегая к услугам справочников, библиотек и советников, первой вспомнит число составляющих сборник писем, считается стороной первой вспомнившей это число, и ей вручаются уверения в совершеннейшем к ней почтении; сторона же, вспомнившая искомое число второй или вовсе его не вспомнившая, полагается стороной не вспомнившей или вспомнившей несколько позже, ей ничего не вручается, и она остается при пиковом интересе

со стороны испанской плутократической республики соглашение подписали хуан-карлос с супругой и сопровождавшие их смуглые лица; со стороны новорожденного русского хронархиата — я и сопровождавшие меня копенгагов, роман максимович, и айвазов, артак арменакович, что пошел в вагон-ресторан и быстро вернулся, неся на подносе цыпленка по-киевски и выпить на посошок

так, в который уж раз, мне представился случай удостовериться в деятельной преданности нашего кашевара-на-марше: сей не отравит, подумалось мне и блеснулось хорошей, хотя и кривой, саблезубой ухмылкой

все, за исключением наблюдающих за выполнением условий вокзального соглашения, выпили, закусили, и в знак приязни мы с королем преломили куриную дужку

берите и помните, ваша вечность, — ска-

зал он мне

беру и помню, ваше величество, — парировал я
тут хуан подал знак, и господ отъезжающих пригласили в вагоны

ударили отправление — взметнулся туш мендельсона — взвились семафоры — вымпелы — поезд весь передернуло — лица сторон прикипели к стеклам — вода в моей ванной вскипела — и яйца, что только что — впрочем, довольно о них, довольно, пускай их катятся, понимаете ли, колбасками к Богу в рай — надоели, обрыдли, настряли — всю западную европу напропалую — яйца да яйца, паки и паки, круче и круче — невероятно, какая-то безысходность, сквозная безвыходность, будто кто-то неправый, но сильный обрек вас на эти яйца, как на галеры — приговорил к ним пожизненно — приковал — принайтовил — а? айвазов? айвазов тут, в сущности, ни при чем, он не властен, он только старательный повар, то есть слишком старательный

спору нет, он мог бы, теоретически рассуждая, помилосердствовать — убавить пламя или урезать сроки варения, но это же не решение вопроса, ибо яйца останутся яйцами, если по всей раздираемой междоусобицами западноевропейской теснине — по крайности вдоль чугунных ее путей — продают только яйца да яйца, да соль к ним, да мыло, да лезвия, да, быть может, газеты

сколь унизительно оскудела, скукожилась эта земля, подарившая миру десятки байронов, сотни фуко и — тысячи геростратов не уморительно ли в настоящей связи цитировать сетование македонского, завязтого книгодея и просветителя: ах, у него, мол, видите ли, библиотека в александрии сгорела

уморительно, гражданин александр, потому что потом, у вас же и в остальных империях в результате все тех же противоречий сгорело всякого барахла на миллиарды драхм: магазины и тюрьмы, кунтцкамеры и рейхстаги, мосты и механические мастерские

а уж библиотекам сам черт велел: ведь — папирус короче, отвлекитесь от ваших потусторонних забот и оборотитесь окрест: пепелища, пожарища

а какая безнравственность! по каким пустякам разгораются эти сыр-боры!

однажды на вечере у принцессы монахо принц лихтенштейна, имевший с ней ранее более нежели тесные отношения, но освобожденный от них как несправившийся с обязанностями, при всех предлагает ей куртуазный вопрос: как вы думаете, если бы мы условились называть ноги — усобицами, то что в нашем случае мы разумели б под междуусобицами?

в вашем, ваше высочество, случае, — оскорбилась принцесса, — совсем немногое

и вдобавок распорядилась немедленно оскопить несчастного

так разразилась очередная междуособная распря, получившая наименование новой столетней, поскольку конца ей не видно, а последствий ее — не избыть

и когда отвращение к яйцам переходит последний рубеж, когда мы уже не чаем полакомиться чем-то помимо оных до самых русских границ, тогда к нам судьба направляет романа максимовича копенхагова с околесицей разнообразнейших яств

в чем дело, любезнейший, — говорил я ему, неслушающимися от вожделения пальцами заправляя салфетку за воротник дорожного куртеца, — вы шутите, мнитесь или навяли сон? развеите, развеите, это нехорошо, негуманно, я не желал бы иллюзий — а специи? протяните специи — а приборы? — благодарю вас, однако какой лукулл посылает нам от щедрот все эти кнедлики и шпикачки? или они из старых, еще аргентинских, припасов? — не я ли вижу турятину и голубику со сливками? но тогда — отчего не прежде, к чему же было томить, испытывать весь поход, его месяцами, вы что — саботируете? мешочничаете? укрываете пищевые продукты от лиц государственной важности? несолидно, голубчик, вы все-таки генерал-генерал, представляете, что подумает суд офицерской чести? раскайтесь, молю вас — а? зачем говорить своему мешочничеству малодушное да, если можно сказать ему доблестное генеральское нет — навязать ближний бой — дать баталью — иль вы хотите сказать, что купили данную роскошь на станции, у некоего легендарного креза? прекрасно, скажите, правда, я не могу обещать, что поверю, но я постараюсь — дерзну поверить

на станции, ваша вечность, — кивнул копенхагов р. м., — у крестьян

я раздернул оконные што-

ры, которые всеми своими складками до странности напоминали мне шторы, задерживающие пасть крематорской механизированной преисподней, дабы пришедшие вас проводить не смотрели, как остро нуждающиеся кочегары и практиканты от благородных училищ злорадно вытряхивают прифранченного вас из гроба и грабят — берут одежду и обувь, пенсне и монисто, колье и браслеты, паспорт и трость — и в конец обнищавшего, обнаженного швыряют вас в жар

одна, как заметил какой-то поэт, но пламенная страсть владеет там человеком

вас поводит, коробит, корежит, вы маетесь дурью, корчите из себя живого, пытаетесь приподняться, восстать, но особыми вилами вас надменно придавливают к раскаленным колосникам

вы смиряетесь, съеживаетесь, сереете и тихим пеплом — мягко сыплетесь между ними в поддон, где и смешиваетесь с останками остальной клиентуры, а также бродячих животных, сжигаемых в той же печи по разрядке вышестоящих организаций

в бытность мою практикантом центрального эмского крематория имени патриса лумумбы я не пользовался привилегиями остро нуждающихся, то есть — не грабил, однако знаю, как ловко и слаженно это делается

впрочем боюсь наскучить деталями поэтому разрешите дернуть только оконные шторы — шторы окна, имеющего быть окном одного из вагонов идущего на восток состава сугубого назначения

я не тотчас узнал ее — так она посвежела, поправилась, брызнула красками пастбищ и лиц: утопически тучная и счастливая польша, исполненная событиями чисто польского толка, свободно стелила передо мною свои полевые пределы

тогда — неизбежно — подумалось мне о моем старинном приятеле павле иоанне втором, которого я называл просто папа, подумалось о наших душевных беседах на яхте жискара д'эстена с пикантным названием лоллобриджида, что плавно покачивалась когда-то на лаго маджоре в виду локарно, подумалось мне и о вере, надежде, любви, о своем понимании их, о пользе религиозного возрождения в рамках не

только общин и сект, но и стран, континентов

и как-то само собою припомнилось, что знаменитый год, на который первоначально планировался страшный суд, тысячелетие отсрочки коего широко отмечалось международной общественностью накануне отбытия моего из посланья, мистическим образом соответствует сумме писем, составивших *me gusto de vega*

и туго натянутыми проволоками железнодорожного телеграфа в мадрид полетела моя зашифрованная депеша хуану-карлосу: девятьсот девяносто девять

не знаю, право, как мог я запомнить это число: ведь в мои новодевичьи годы три девеговские девятки всечасно будили воображение юноши, навевали ему нескромные сновидения, учащали дыхание, пульс

три девятки!

никогда не мечтал я о титуле андалузского графа, да и графоманская слава де веги меня не влекла, но лавры, выхлопотанные испанцем на поприще дортуарных нег, подстрекали будущего свидетеля к сплошному дерзанию

я завидовал драматургу той завистью, что называется белой, и вы, мои многогородные ракиты-плакиты, и какие-то просто тетки — чужие, прохожие и переходные, заезжие и проезжие — тетки в уличном, бытовом осмыслении слова — становились невольными жертвами этой зависти, этой азартной неуспокоенности моей

три девятки — не-

мыслимо!

детским лепетом отзываются на их фоне лишь две девятки марины цветаевой, слывшей кокетливой ветреницей: не напрасно в светелках наших российских скромниц портреты ее давно уступили место иконографии более умудренных опытом и созвучных времени поэтесс

не те же ли самые скромницы разовьют переплеты моих мемуаров, раздерут их поглавно и постранично и станут читать и заучивать столь же прилежно — вздох — сколь мамы, бабули и прабабули оных зазубривали кумиров своих эпох: мопассанов и миллеров, арцибашевых и де садов

ну, что сказать вам, подруги что ж, держайте и вы — пухлогубые, нежные, истерично-восторженные и ужимчивые — терзайте меня, члените, зачитывайте до дыр, по-

знавайте — и делайте свою интимную жизнь с палисандра даль-
берга

только действуйте осмотрительней, не забывайте меня под подуш-
ками, в ящиках парт и вообще прилежно учитесь конспиративным
приемам

возьмем дневники

почитайте за лучшее не вести их совсем, а если ней-
мется, если микроб графомании поселился и в вас, то по край-
ности не увлекайтесь подробностями

не пишите, что, дескать, вчера необдуманно
уступила профессору х, нынче имела неаккуратность сойтись с
фотографом у, а завтра уж непременно отдамся извозчику z

это худо

разоблачайтесь

на частных квартирах, в гостиничных номерах, в отдаленных ро-
щах, а не в альбомах и письмах, что — будьте уверены — перлю-
стрируются полицией нравов

пускай статистика будет сухой по-бухгал-
терски: проставляйте не имена и не инициалы даже, но палочки,
галочки, крестики, нолики — что угодно, хоть закорючки— где-
нибудь на отдаленном листке

и заполнив его, переходите на следующий

а будучи

спрошены, что означают сии пометы, и отчего их так много, ска-
жите: считаю в небе ворон — и вот их много

говоря о себе, замечу,
что палочки мне всегда казались излишне прямолинейными, но-
лики отдавали салом гусарских шуток, а крестики или галочки,
наоборот, не носили желательных нам формальных признаков

оттого я и вы-

брал такой иероглиф, как запятая

для лиц с миниатюрным воображением
запятая — только невинный знак препинания, остановка в пути,
то есть и опрокинутая, и поставленная на попа, запятая обычно
вне подозрений

но всякий художник, эстет, интуит заподозрит в ней скрытый
смысл

запятые, которыми испещрял я беленые стены кельи, столь явно
символизировали старух, согбленных в плакучем блюде своем,
что гривастый иконописец, а заодно и штатный маляр патриархии

глазунов, илия николаевич, по веснам производивший побелку новодевичьих помещений, при виде моих скрижалей бежал, обронив в коридоре кисть, и за ней не вернулся: настенная тайнопись была спасена

ну-с, а время? вернее — река событий?

та вершилась своими спиралями
моей девятой-
сот девяносто девятой, заветной, бабусей становится прихожанка елоховского собора — старушка богобоязненная и опрятная, поведавшая, что когда-то была она величайшей грешницей

я, признаться, забыл,
что именно пелагея ильинична подразумевала под этим: была ли она вокзальная девка, то ли просто гулящая, была ли воровкой, обкрадывавшей своих сыновей, или же подвизалась в какой-то мерзейшей партии — не припомню, сейчас все так спуталось, переплелось, да и не все ли равно — нам-то с вами, теперь-то, спустя и спустя, кто кого там обкрадывал или бесчестил, продавал или покупал —там, в старом эмске или в древних афинах, в вавилоне или в исфагане, в пенджабе или в содоме

сами мы, слава аллаху,
одеты, обуты, накормлены, никого не обманываем, не пытаем, а то, что где-нибудь в новой гвиане ввели закон о всеобщем и полном ношении тазобедренных тряпок, или же что независимая земля калифорния последовала наконец примеру загадочной атлантиды и почти целиком провалилась в тартар, то в данных случаях мы тем паче не властны воздействовать, отменить, помешать произволу

принципы невмешательства — жестки, и наши с вами манифестации никого не взволнуют; особенно задним числом и, пожалуй, единственное, чем мы можем ободриться перед лицом своего исторического бессилия, на краю кромешной его стремнины, есть факты чистосердечного осознания пелагеей ильиничной прошлых грехов ее, раскаяния в них и наступившего вслед за тем благочестия

оно-то и не позволило сбить пелагею ильиничну с панталыку немедленно по знакомстве, точнее, не с панталыку, а с курса, с пути ее в церковь

скорее, наоборот: мне потребовалось идти туда с нею вместе и, чтобы сделать приятное ей, ублажить,

задобрить — пришлось раздать на паперти всю карманную мелочь, купить и расставить местами свечи, а после встать самому и выстоять всенощную напролет, слушая, как пелагея ильинична со товарищи выводит что-то пасхальное и подпевая

а духота
была — невозможная: вы навряд ли себе представляете, экие массы людей сходились некогда в храмы по светлым праздникам — пели, молились, плакали

добрый, отзывчивый, все же, у нас в
россии народ проживает, и всех ему жалко

таким, государь мой, на-
родом и править совестно

только утром, когда все закончилось, угово-
рил я пелагею ильиничну прогуляться со мной ботаническим верто-
градом, где приобрел ей различных конфект, шоколаду, а также
любимых ее леденцов — в том числе и на палочках

и пока она
в забытии их сосала, я тоже имел свое скромное утешение

дело было
среди орхидей отдаленной оранжереи, под сенью ее цветущего
дрока

грехи наши тяжкие, — угрызала себя впоследствии пелагея,
кутаясь в шерстяные рейтузы на помочах

я как мог успокаивал потер-
певшую, но мыслилось о другом

девятьсот девяносто девять! — празд-
новал мой тщеславный ум, — девятьсот девяносто девять!

затем мы на-
правились к ней в колодезный переулочек

весна была дружная, и вокруг все
блестело от слякоти

будучи дворником, пелагея ильинична обреталась
в дворницкой, где в означенный день состоялась пасхальная вече-
ринка в складчину в составе некоторых непримужних и пожилых
швей-надомниц, лифтерш, судомоек и прочих на редкость простых,
безыскусственных обывательниц околотка

съев до дюжины куличей
и напившись кагору, фиеста, как говорят, взорвалась

играли, в частности,
в фанты, и лично мне выпал фант — катать всех по очереди на

лифте

по условиям развлечения мне завязали глаза и проводили во
внутрь, где уже ожидала некто, сладко веявшая поволою тряпницей

словно сле-

пой музыкант, я нашарил кнопку верхнего этажа и нажал ее —
мы взмыли, взлетели, потом спустились обратно

первая некто вышла —

вошла другая, томительно пахшая кухонным полотенцем, и все
повторилось сначала

дом был в несколько всего этажей, но лифт
заедало, и потому всякий раз ваш покорный слуга успевал за одну
поездку проделать именно то, что только и имелось в виду разо-
хотившимися участниками

не скрою: занятие это отдавало голым начет-
ничеством и грубой механикой в духе текущего века, но зато
теперь сумма бабушек, оказавших мне благорасположение,
весьма перевалила за тысячу

так был посрамлен и низложен кумир моего мона-
стырского отчества феликс лопе де вега карпио

после пасхи похождения

продолжались, однако характер они имели все более споради-
ческий, и, немного почив на лаврах и не выцарапав на скрижалях
ни запятой, я сбился со счета

поэтому кто теперь знает, любезные те-
тушки, сколько вас было — поди-свищи, говорят, в поле ветра —
да и к чему вам — не все ли едино в полях ожидания, и не все ли
вы прах — милый, чудный, растленный, но — прах

и следовательно —

не зовите меня оттуда по имени-отчеству, не зовите никак — ибо
вас не осталось тоже — вы убыли — отлетели — запомните

а потом — откуда

вы знаете, может быть, мне давно зачлось и воздалось: что знаете
вы вообще о пройденной мною жизни — и о других, прежних
жизнях моих

к тому же, как выражался мой дедоватый дядя, а ваш незабвен-
ный братец, одно растление есть трагедия, тысяча — просто ста-
тистика

выходит и каяться вроде не в чем — не так ли?

во всяком случае, ра-

но, ведь точки я тоже не выцарапал — ни тогда, ни потом — ни-

когда и нигде — мне рано, я жив — жив эрго вечен, учтите — и я не боюсь вас, тем более бледным днем, а когда сонной ночью сквозняк ненароком удушит пламена моего канделябра, то копенгагев немедля придет оживить их — придет, придя; заходите, скажу я ему радушно, присаживайтесь — и, brave полуночники, мы разопьем с ним бутылку так называемого белого — за упокой ваших душ — а?

и мы побеседуем с денщиком до зари, до ее цветов побежалости, мастерски отраженных в лужах, в реках, очах караула — прощайте ж, сударыни, не встречайте, здесь чисто мужской разговор о деле — за все уж давно заплачено — и сполна — вы слышите? — вплоть до самой зари, до зеленой эмской зари включительно, когда на мостах и набережных выключают газ

Саша Соколов (р. 1943) — писатель, автор романов "Школа для дураков" (1976) и "Между собакой и волком" (1980); на Западе с 1976 г.

Вышла из печати новая книга

ВАДИМА БЕЛОЦЕРКОВСКОГО

Сборник статей

"ИЗ ПОРТАТИВНОГО ГУЛАГА РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ"

В **первый раздел** входят статьи, посвященные: теории самоуправления и анализу программ "Солидарности" по самоуправлению; исследованию явления "эволюционной революции" и признаков выхода Запада из "эры насилия"; анализу причин пассивности советских рабочих и истоков русского оппозиционного национализма.

Статьи **второго раздела** посвящены анализу причин "нравственной патологии" и "антизападной истерии" в среде российской политической эмиграции.

Германия 1983.

180 стр.

7,5 долларов

У нас можно приобрести книги того же автора:

СВОБОДА, ВЛАСТЬ И СОБСТВЕННОСТЬ. О политической, экономической и социальной структурах советского общества. Идеях и принципах общества самоуправляющихся коллективов.

Германия 1978.

180 стр.

5,0 долларов

СССР — ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ. Сборник статей и документов. Авторы: Г. Андреев, В. Белоцерковский, Ю. Вишневская, Е. Кушев, А. Левитин-Краснов, М. Михайлов, Л. Плющ, Я. Эльберфельд, Е. Эткинд, А. Янов.

Германия 1976.

329 стр.

7,0 долларов

Книги можно приобрести во всех израильских магазинах, торгующих русской книгой, а также у европейского распространителя;

A. Neimanis Buchvertrieb Gm b H
Bauerstr. 28 8000 Munchen 40 Germany

Наталья Горбаневская

ИЗ КНИГИ

“ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ”

(готовится к изданию в изд. “La Presse Libre”)

* * *

Что-то — кому-то,
а что — никому не расскажешь.
Дышишь минуту
поглубже, чтоб выдохнуть тяжесть.

Меряешь вздохом,
и охом, и ахом дорогу.
— Что тебе, плохо?
— Да нет, ничего, слава Богу.

Меряешь страхом
застрявшие в глотке признанья,
смехом и взмахом
руки ускоряешь прощанье.

Что-то к чему-то,
а что — ни к чему и бесцельно,
смято и мутно,
и даже — смешно! — не смертельно.

* * *

Где-то волны, где-то парус,
где-то волны и ветра.
Я вдали от моря старюсь,
ваша старшая сестра.

Океанской серой солью
оседает на виски
все, что было просто болью,
все, что забрано в тиски.

За окном моим — не волны,
за окном моим — ветра,
и короткий всхлип невольный
просыхает до утра.

* * *

Ну вот и выпал снег —
ненадолго, а все же
тоскующих сердец
тоску он превозможет.

Растает грязный снег —
естественно, а все же
надолго мой сосед
тоскою занеможет.

А мне так все равно —
хоть наползи пустыня.
Лицо мое темно,
глаза мои пустые.

* * *

Захлебываясь песней,
шагал пехотный полк.
А мы стоим на бровке
Садового кольца.
Ах, бедный мой ровесник,
из нас не вышел толк,
мы выскочили за пол-
остановки до конца.

И если захлебнемся —
не маршем строевым,

но лепетом полночным
в полубреду, в полу-
сознаны, что пробьмся
сквозь дождь и шум травы
к мелодии внезапной,
водосточной, по стеклу.

* * *

Радость моя, растворенье мое
в воздухе зимнем, дождливом, жемчужном,
сладостней плакать на севере южном,
чем по Мадриду, смеясь, воронье

спугивать смертоубийственной шпагой
по-над погостом, где ржавеет склеп,
а командор и оглох, и ослеп,
и пренебрег и женой, и отвагой.

Радость моя, в воздухах растворясь
здесь, далеко, и на севере, близко,
я проскользну над вселенною склизкой,
с миром вступая в преступную связь.

* * *

Всходит солнце Аустерлица
по дороге в Орлеан.
Выдающиеся лица
едут к деве на поклон.
Журавлиная синица
опустилась в океан.
Тех, кому ничто не снится,
никому не взять в полон.

Всходит алое светило,
рыжий бык, червонный плат,
озарило, осветило
луг, ручей, мостки и плот,

засияло, задымило
в гуще облачных заплат,
ночи тьму собой затмило —
мира свет, войны оплот.

Жар зари над полем битвы,
ветер в ключьях облаков.
Под кустом лежит убитый,
на доспехах сохнет кровь.
Торопливые молитвы,
потемневший лик веков.
Ярым заревом залитый,
уходящий в плен король.

Это снимые картинки.
Это сны, но не мои.
Камышинные тростинки
над речною немотой.
Это духи-невидимки
голосят из темноты.
На поблекшем старом снимке
чей-то профиль, но не мой.

* * *

Не — давай поговорим стихами,
но давай стихами — поговорим.
Чтобы скромнели и притихали
чисто служебные связки рифм.

Не о подвигах и не о погоде,
не о том, что на страницах газет,
не о польском или русском народе,
а о нас с тобою — которых нет.

Нет — в этом смысле, как “нас с тобою”.
Но отчего на короткий миг,
словно с судьбой не смирясь такою,
струнка протягивается и томит?

Нет — потому что и быть не может.

Но отчего, почти ультразвук,
тянется эта ниточка дрожи,
доводя до дрожания рук?

Давай рассудительно и разумно
поговорим. А не то — помолчим.
Хоть молчание наше давно безумно,
а плач мой безмолвный неизлечим.

* * *

На стыке вагона с инерцией ветра,
на стыке воздушных путей и стальных
одна одинокая мерзлая ветка,
свисая с небес, ударяет под дых.

На стыке природы в лице непогоды
и мира в обличье катящихся рельс
она ударяет, как в прежние годы
ударил бы целый завиденный лес.

И, вдвое согнувшись под этим ударом,
до птичьего свиста давленья поддав,
душа машиниста, и дымом и паром
клубясь, поднимает на воздух состав.

* * *

Дребезжащий патефонный голосок
и до донышка допитая бутылка.
Предпоследний надвигается часок,
до последнего еще дожить бы только.

Еще кто-то, заплетаясь языком,
древний Рим и мир нетрезвый ставит к стенке,
еще кто-то, с кем ты вроде незнаком,
кулаком с тобою спорит по коленке.

Еще ночь не побелела за окном,
еще кутает не саваном — куколью,

еще не остановился метроном,
долгих лет иль долгих мигов нам кукуя.

Ах, дожить бы только, только б увидеть,
как покатится все к черту вверх тормашки,
и успеть последний ужас передать
на крутящейся, на взвихренной бумажке.

* * *

Опять.
О пять
перстов пятерни!
Разъять —
и вспять
просторные дни.

Он тут,
тот свет,
но светел и он.
Вплывут
в просвет
полена и клен.

* * *

Роса, роса, кому ты очи выешь?
Метелица, чего ты к ночи воешь?
Зачем, зимы и лета часовые,
дежурство ваше многочасовое
в тени невидимых ворот,
где не сменилось время года,
где не меняется погода,
где танк, вернувшись из похода,
бессильно разевает рот
и неразряженный снаряд
роняет, и ложится в ряд
подкошенной травой пехота.
По ком ты воешь и кого ты гложешь
до слез, до смерти, матушка-планета?
Кого ты в землю мягкую уложишь?
Кого ты без следа сживешь со света?

* * *

Как будто ни слова, а все же, а все ж,
а все ж таки месяца миска
с туманного неба, слышав галдеж,
ко мне наклоняется низко.

Как будто под утро стоит тишина,
но, чуткое ухо на стреме,
с туманного неба сползает луна
к моей разговорчивой дреме.

Как будто — а все же, молчи — не молчи,
одна я, глуха и безлика,
во всей молчаливой и спящей ночи
виновница плача и клика.

Н. Горбаневская — поэтесса и переводчица; участница демонстрации 25.8.68 на Красной площади против вторжения в Чехословакию, автор книги "Полдень", посвященной этой демонстрации, одна из основателей "Хроники текущих событий", с 1969 по 1972 год — в заключении, с 1975 г. — на Западе, где опубликовала несколько поэтических сборников и ряд переводов с польского (в т. ч. произведений Нобелевского лауреата Ч. Милоша); заместитель редактора журнала "Континент".

Единственный на Западе
русский литературный ежемесячник
"ЛИТЕРАТУРНЫЙ КУРЬЕР"

**ПРОЗА. ПОЭЗИЯ. ПУБЛИЦИСТИКА. РЕЛИГИЯ.
ВОСПОМИНАНИЯ. ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА**

Выходит на 24–28 страницах большого формата
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: для США — 12 долл. в год
для других стран — 19 долл. в год

Заказы и чеки принимаются по адресу:

Literary Courier, 150 5th Ave, Suite 1104
New York, N. Y. 10011, USA

СТИХОТВОРЕНИЯ

Шестиконечная звезда
Над этой битвой шестидневной
Была и яростной, и гневной,
И побеждающей всегда.

Вновь безрассудный Голиаф
Повержен маленьким Давидом.
Есть наконец предел обидам
И поруганью древних прав.

Да обретет покой и мир
Мое трагическое племя,
Народ, преодолевший время
И снова поразивший мир!

Июнь 1967

* * *

В поисках утраченной души
Бродит тело по дорогам века
(В гиблом мире недочеловека
Все дороги ныне хороши.)

Позади остался Третий Рим,
Тень моя смеется там и плачет,
А вдали таинственно маячит
Город мира Иерусалим...

* * *

Две родины — как два крыла
Стремящейся куда-то птицы.
И что тут значат все границы,
Все грани мирового зла?

* * *

Я судим не по твоим законам,
Грешная и страшная страна,
Где душа мытарствуется сполна
По квартирам перенаселенным,

По неисчислимым тупикам
Тусклого и тягостного быта,
Где несет безвестная орбита
Сквозь всеобщий неизбывный срам,

Где немислим никакой побег,
Не спастись ни верой, ни любовью,
Где за правду платят только кровью,
Только кривдой продлевают век...

* * *

Над сводами древнего храма —
Неисповедимая ночь.
Среди безысходного срама
Чему мы сумели помочь?

Ужели мы все виноваты,
Ужели прощенья нет?
Но клочьями облачной ваты
На город ложится рассвет,

Сменяя бессмысленной явью
Мучительно-горькие сны.
И нету предела бесславию
Покинутой Богом страны.

* * *

Где Россия? России нет —
Лишь глухие ее пространства,
Лабиринт окаянных лет,
Ложь, предательство, трусость, пьянство...

Но одно удалось сберечь —
Наше горькое утешенье,
Несравненную нашу речь,
Право наше на воскресенье.

* * *

Не бывает дыма без огня,
Следствий без причины. В этом мире
Дважды два всегда дает четыре.
Истины преследуют меня.

Истин много, только правды нет,
Кроме той, что стоит три копейки.
Вдоль аллеи тянутся скамейки.
Тут сидят часами, смотрят вслед.

Именуют "Чистые пруды"
Грязный пруд, в котором плещут птицы.
Что ж, листай газетные страницы,
Жди награды за свои труды.

Вновь и вновь перелагай в слова
Этот день и даже это место.
По соседству скалится невеста
И жених блюдет свои права.

Все, как прежде. Истины твои —
С истинами мира в вечном споре.
Только ты не вечен здесь и вскоре
Растворишься в этом бытии.

* * *

Безудержный праздничный бал,
Почти что волшебное царство,

От всех ежедневных кабал
Единое в мире лекарство.

В нелепом табачном дыму,
Под рокот немолчной гитары,
Готовясь бог знает к чему,
Слипаются тесные пары.

Устав, возвращаются вспять —
Петь, пить и закусывать водку,
Друг друга в слезах обнимать,
Потискать, пощупать красотку.

Визг, хохот, сопение, стон.
Вовсю голосит радиола.
Поет пожилой баритон
Про страсти обоего пола.

Порою случается так:
Без всякой особой причины
Кому-то захочется драк,
Увечины и мертвечины.

И скорая мчится на зов,
Приходят милиционеры.
Но поздно. Товарищ готов.
Предвидятся высшие меры.

* * *

Незыблемость мира, незыблемость мира...
Все те же и город, и дом, и квартира,

И визг радиолы за тонкой стеной,
И диск, что зовут почему-то луной.

Увидишь опять в фантастическом сне
Соседей своих на далекой луне...

С. Залин — поэт; в эмиграции с 1981 г., живет в США.

ПОБЕГ В ОКЕАНЕ*

(журнальный вариант)

Это случилось одной незабываемой ночью несколько лет назад в Тихом океане у берегов Филиппин...

Палуба ушла из-под ног. Какое-то время я летел в воздухе, пока не почувствовал, как волны расступились и мягко приняли меня в свои объятия. Всплыв на поверхность, я повернул голову и... замер от страха. Возле меня, на расстоянии протянутой руки — громадный корпус лайнера и его гигантский вращающийся винт! Я почти физически ощущаю движение его лопастей — они безжалостно рассекают воду прямо рядом со мной. Какая-то неумолимая сила подтягивает меня ближе и ближе... Я делаю отчаянные усилия, пытаюсь отплыть в сторону — и увязаю в плотной массе стоячей воды, сцепленной мертвой хваткой с винтом. Мне кажется, что лайнер внезапно остановился — а ведь лишь несколько мгновений назад он шел со скоростью 18 узлов! Через мое тело проходят устрашающие вибрации адского шума, звуковые волны которого медленно и неумолимо пытаются столкнуть меня в черную пропасть. Я отчетливо ощущаю ритм вращающегося винта на общем фоне этого чудовищного грохота. Винт кажется мне одушевленным — у него злорадно улыбающееся лицо, меня крепко держат его невидимые руки...

Внезапно что-то швыряет меня в сторону, на меня обрушивается огненный вихрь, и я стремительно лечу в разверзшуюся пропасть...

Я попал в сильную струю воды справа от винта, и меня отбросило в сторону. Стало очень тихо. После лязга железа и отвратительных вибраций корпуса шум рушащихся гребней волн и завывание ветра показались мне нежнейшими звуками. Лайнер стал быстро удаляться. Я чувствовал огромное облегчение — ведь я только что ушел живым и невредимым от этого страшного вращающегося винта.

Человек не может одновременно воспринимать несколько опасностей, они обычно неразличимы в момент страха и набрасываются на него по очереди.

* С. Курилов — океанограф и журналист, в 1974 г. совершил уникальный побег из СССР, описываемый в публикуемой повести; живет в Канаде.

Я все еще не понимал, что произошло, — в последний день перед побегом мое внимание было направлено совсем на другие вещи. И вот теперь наконец я начинаю видеть мир не глазами пассажира советского лайнера, а глазами потерпевшего “кораблекрушение” по доброй воле.

Ночь... Штормовой океан... Берег неизвестно где... Это уже не те воображаемые акулы, о которых я так мило рассуждал с друзьями, сидя в баре с рюмкой водки в руке, — каждое мгновение могут появиться настоящие...

Огни лайнера все удалялись и удалялись. И я наконец полностью осознал, что я совершенно один в океане. Помощи ждать неоткуда. И у меня почти нет шансов добраться живым до берега.

Но в этот момент мой разум философски заметил: “Зато теперь ты абсолютно свободен! Разве не этого ты так страстно хотел?”

* * *

Помню улицу в маленьком провинциальном городке, дом и комнату, где я обычно сидел за столом и неохотно выполнял школьные задания. За окном, через улицу — высокий серый забор. Я всегда видел его, когда поднимал голову и отвлекался от книг. Я ненавидел этот забор. Он был как бы символом всех препятствий, стоящих между мной и моими мучительными желаниями. Иногда мне удавалось смыть его усилием воли. Я мысленно представлял себе большие океанские волны. Накатываясь на забор, они постепенно смывали его начисто. Передо мной открывались неведомые дали — тихие лагуны тропических островов с пальмами на берегу, одинокий парусник вдали у горизонта и необъятный простор океана... Но когда я уставал мечтать и приходил в себя, я видел перед собой снова неумолимый серый забор...

В тот день, когда мне уже в который раз отказали в визе для работы на океанографических судах дальнего плавания, мое терпение пришло к концу.

Обычно мне отказывали молча, без указаний причин. На этот раз в моем личном деле была приписка-приговор: “Товарищу Курилову, посещение капиталистических государств считаем нецелесообразным”.

Все во мне взвилось на дыбы — это уже конечно безнадежно! Пожизненное заключение в стране рабов!

Выход был только один — бежать. Куда угодно, только бежать прочь.

Я почувствовал себя изгнанником и... стал внутренне свободным.

Я жил в государстве, где все люди были скованы одной гигантской невидимой цепью — некоей идеологией, больше похожей на заклятие злого волшебника.

— В этой стране, — говорили шутники, — даже все, что можно, — нельзя!

Я видел страх в людях — в их глазах, в их позах, в манере разговаривать, прислушиваясь и оглядываясь.

Страшно видеть миллионы здоровых, сильных мужчин, подавленных постоянным страхом, — страшно жить среди них.

Странное это чувство — страх. Когда тебя охватывает страх, ты с ужасом наблюдаешь, как перестаешь быть человеком. Все твои хорошие качества срываются порывами страха, как осенние листья.

Я был готов на самые безумные действия. Я был пленником в этой стране, а ведь только святой может любить свою тюрьму. Осталось одно — дожидаться удобного случая и бежать.

И случай не замедлил представиться.

В один грустный, пасмурный день я случайно прочел в газете объявление, что большой пассажирский лайнер идет к экватору с туристами на борту. Никаких виз не требовалось; в течение двадцати дней лайнер будет находиться в открытом океане без заходов в иностранные порты. Круиз назывался “Из зимы в лето”, местом сбора туристов был Владивосток.

Шел ноябрь 1974 года.

Наступил день вылета во Владивосток.

Наш самолет делал короткие остановки в Иркутске, Красноярске и Хабаровске. Холодный, пронизывающий ветер при сорокаградусном морозе. Все вокруг кажется безжизненным и унылым, как на заброшенной планете. Люди закутаны с ног до головы, лиц нельзя различить, походка какая-то неестественная — все стараются поворачиваться спиной к ветру, сжаться в комок, и часто подпрыгивают. Можно ужаснуться только от одной мысли — жить здесь годами.

Похоже, люди здесь и не живут, а выживают после какой-то катастрофы, когда эта планета подверглась оледенению, потеряв всю свою былую красоту. И только время от времени пролетают мимо случайные космические корабли.

Во Владивостоке было заметно теплее. Мы прибыли с небольшим опозданием — более тысячи туристов из разных городов страны уже находились на судне. Отход лайнера был назначен на 7 декабря. А пока мы отправились осматривать окрестности.

Город, раскинувшийся на совершенно голых холмах, был завален сугробами снега. Дорогу от аэропорта к центру города расчистили на небывалую ширину — ожидался приезд американского президента.

Когда-то здесь была непроходимая, дремучая тайга. Похоже, после установления советской власти все деревья вымерли и только синий-синий океан, с его обрывистыми берегами, уютными бухточками и одинокими скалами в воде, украшал этот город.

Пассажирский лайнер “Советский Союз” стоял в бухте с романтическим названием “Золотой Рог” и был виден издалека. Меньше всего он был приспособлен для побегов — как хорошая добротная тюрьма. Линия борта шла от палубы не по прямой вниз, как у всех судов, а плавно закруглялась в противоположную от корпуса сторону. Если кто и вывалится за борт, то упадет не в воду, а на округлость борта. Все иллюминаторы поворачивались на диаметральной оси, разделявшей круглое отверстие на две части. Обычно на всех судах всегда легко пролезть в иллюминатор, но это полукруглое отверстие годилось разве только для годовалого ребенка! Чуть ниже ватерлинии по обе стороны судна, от носа и до кормы, были приварены металлические крылья, более метра в ширину. Для прыжка с борта нужно было бы разбежаться по палубе и нырнуть “ласточкой”, чтобы войти в воду как можно дальше от корпуса и этих подводных крыльев.

Такой прыжок трудно выполнить с верхних палуб (где есть разбег) — высота их превышала двадцать метров и на ходу судна это мог бы сделать разве только Тарзан.

После тщательного осмотра кормы лайнера глазами будущего беглеца я понял, что прыгать можно только в двух узких местах — между закраинами гигантского винта и концами подводных крыльев, там, где струя воды отбрасывается от корпуса. На корме главной палубы, возможно, не будет туристов — у самого борта стояли большие баки с мусором; расстояние до воды отсюда было метров четырнадцать, не считая фальш-борта.

Стоя на набережной у кормы лайнера, я измерил взглядом это расстояние. И на минуту задумался.

— Высоко, — тихо заметил Дьявол-искуситель, — ты конечно побоишься.

Он знал, как сыграть на моем упрямстве.

— Кто знает, — ответила я и... принял решение прыгать.

Лайнер "Советский Союз" был построен в тридцатых годах в Германии. Во время второй мировой войны он затонул или его потопили, а после войны советские специалисты подняли его со дна и переоборудовали под перевозку грузов и пассажиров. В то время это было самое крупное грузо-пассажирское судно в стране. Оно совершало каботажные рейсы между портами Дальнего Востока и не смело заходить в иностранные порты, где на него могли наложить арест и вернуть законным владельцам.

Перед началом плавания нам была известна только общая схема маршрута: лайнер выйдет из порта Владивосток, пересечет Японское море и сделает короткую остановку в Цусимском проливе, где будет возложен венок в месте разгрома русской эскадры в 1905 году. Затем лайнер направится на юг, в Тихий океан, и приблизится к экватору. По традиции, тем, кто впервые пересекает экватор, предстоит церемония морского крещения в "присутствии" морского бога Нептуна и его свиты. Весь маршрут от Цусимского пролива до экватора держался в секрете от туристов, но всем нам было совершенно ясно, что "Советский Союз" не будет приближаться к чужим берегам слишком близко.

Туристам радостно сообщили, что в продолжении всего пути можно будет загорать под тропическим солнцем, купаться в бассейнах и любоваться красочной панорамой океана — что ж, и это немало для советских людей!

На лайнер были приглашены специальные лекторы — знакомить туристов с политическим устройством и экономическим положением близлежащих стран, а также океанограф из университета — для пополнения знаний о географии Тихого океана.

Мягко выражаясь, советским людям была предоставлена неограниченная возможность мысленно посетить чужеземные города и страны, которые будут где-то довольно близко за чертой горизонта.

Днем раньше, когда наша ленинградская группа в составе 13 человек (уже тогда кое-кто из девушек суеверно перешептывался по поводу этого числа) поднялась по трапу на борт, нас встретил жаркий спор за места в каютах. Выяснилось, что индивидуальных кают не было совсем, каюты первого класса предназначались для двух человек, второго — для четверых,

а третьего — для шести и более. Всех туристов заранее расписали по местам, как на военном судне. Каюты были не одинаковые, и люди быстро обнаруживали, что за ту же цену их соседи имеют лучшую, кроме того многие попросту не хотели селиться с незнакомыми попутчиками, предпочитая оставаться, естественно, с друзьями или новыми знакомыми.

Проблема казалась неразрешимой, спор продолжался уже третий день, и количество недовольных пополнялось за счет вновь прибывающих. Только к вечеру последнего дня, как раз во время нашего приезда, было найдено поистине "Соломоново решение": всем недовольным предложили возвращаться обратно без какой-либо компенсации.

Посылая проклятия советской власти (мысленно конечно), туристы разошлись по своим каютам. Нашей группе "повезло" — мы прибыли позже всех и даже еще не успели обнаружить эти неудобства и огорчиться.

Оставалось всего несколько часов до отхода лайнера и мы собрались в нашей каюте, чтобы отпраздновать отплытие судна и начало отпуска.

В самый разгар вечеринки мы услышали по радио команду капитана: "Приготовиться к отходу судна! Всем стоять по своим местам!" Эти слова прозвучали для меня, как приговор.

Вся наша компания отправилась наверх. В этот момент я почувствовал, что пора прощаться с тем, что зовут родной землей. Чтобы вполне осознать, что она такое, нужно ее покинуть навсегда. Из абстрактного понятия: страна, государство, родина — она превратилась в нечто конкретное и осязаемое. Даже при расставании с человеком мгновенно исчезают все огорчения и неприятности, причиненные им, в душе остаются только счастливые воспоминания. Родина — это прежде всего Душа. Она разлилась повсюду и смотрела на меня тысячью глаз. Наступила какая-то магическая тишина, мир стал для меня одушевленным. Я боялся пошевелиться и спугнуть эту тишину.

— Боцмана на бак! Поднять левый якорь!

Все моряки на свете чувствуют грохот якорной цепи несколько иначе, чем жители суши.

Казалось, что вся окружающая природа участвует в церемонии отхода судна. В молчаливой сосредоточенности стоят соседние корабли. Портовые краны слегка склонили свои головы-стрелы. Тихо-тихо набегают волны на стенку набережной. Облака в небе неподвижно застыли. Чайки неслышно парят в полете, и их крик совсем не нарушает эту магическую тишину. Актеры-матросы застыли на месте в каких-то значимых позах и ждут. Звучат команды. Швартовые концы, как змеи, вползают на палубу. Бурлит вода

у винта. Между стенкой набережной и бортом лайнера появляется полоска воды...

Руководители круиза пытались взять под контроль все свободное время туристов. Для этого сформировали группы по двадцать пять-тридцать человек, не считаясь с желаниями людей, и назначили комиссаров и всем выдали цветные галстуки, как отличительные знаки. Каждая группа должна была сидеть за своим столом в ресторане, ходить вместе на лекции и в кино и, самое худшее, участвовать в каких-то полудетских, идиотских играх под руководством затейников.

Первыми подняли бунт девушки. Как-то вдруг оказалось, что в нескольких группах собрались только женщины, и они решительно потребовали "разбавить" их группы достаточным количеством мужчин. Женщины других групп не хотели отдавать своих мужчин — их было и так мало. Перегруппировки продолжались несколько дней, но недовольных всегда было больше. Тогда организаторы круиза пошли на некоторые уступки и предложили сохранить группы хотя бы за обеденным столом.

Самые смелые и непреклонные туристы тут же "потеряли" галстуки, подчеркнув свою полную независимость.

Первые дни нас будили по утрам и пытались сгонять на лекции. Но скоро организаторам лекций стало ясно, что для успешного выполнения этого "задания партии" туристов нужно связывать и нести в лекционный зал на носилках, а перед началом лекции запирать дверь зала на ключ.

В конце концов руководители рейса махнули на все рукой и предоставили туристов самим себе.

Как вы думаете, что может быть, если несколько сот здоровых цветущих парней поселить в близком соседстве с еще большим числом молодых женщин? И всего лишь на двадцать дней? Стоило спуститься вниз по трапу в жилые палубы, как можно было услышать несмолкаемый гул голосов, и ощутить распыленный в воздухе запах спиртного и духов. За дверью каждой каюты — музыка, песни, пляски, хохот и визг женщин, несмолкаемый шум споров, пьяные выкрики, любовные стоны, непрерывные тосты, звон посуды.

Туристы предавались веселью, начиная с обеда и до утра — в каждый драгоценный день отпуска. На завтрак выходило сравнительно мало людей — многие еще крепко спали. На обед собирались почти все. А во время ужина можно было видеть, как быстро прибегали посланцы разгулявшихся компаний, хватали со стола несколько бутербродов и снова исчезали в жилых палубах. Похоже было, что многие гуляки так и не найдут времени выйти на палубу — взглянуть на океан и подышать свежим морским воздухом.

Как только темнело, начинались танцы. Музыку и песни передавали по громкоговорителям с утра и до полуночи.

Передо мной, задумавшим "нечистое дело", стояла очень трудная задача — нужно было каким-то образом определять местоположения судна. У меня была мелкомасштабная карта Тихого

океана, звездная карта обоих полушарий и бинокль. Я собирался делать прокладку пути судна по счислению и по тем отрывочным сведениям, какие мог получить в штурманской рубке. Чтобы не привлекать внимания, я не решался без особой необходимости часто бывать в рубке и много часов простаивал с биноклем на самом верхнем мостике, пытаюсь увидеть землю на горизонте.

Мне хотелось знать, хотя бы приблизительно, как пролегает маршрут: всегда в открытом океане или хоть иногда недалеко от берегов.

Наконец, наш загадочный туристский маршрут был рассекречен — в одном из залов лайнера мы увидели географическую карту западной части Тихого океана с линией пути судна к экватору и обратно, даже с помеченными датами! Я принял эту карту, как "послание Небес" — она помогла мне сэкономить массу времени и усилий.

Лайнер должен был пересечь Восточно-Китайское море в виду острова Тайвань, проследовать вдоль восточных берегов Филиппинских островов, направиться в Целебесское море и достичь конечной цели — экватора — между островами Борнео и Целебес. В дневное время курс шел поближе к берегам, а ночью — подальше.

Само собой разумеется, это была приблизительная схема маршрута и на нее нельзя было полностью полагаться. С другой стороны, можно было ожидать, что ради укорочения маршрута капитан будет вынужден весьма приблизиться к берегу в районе маленького острова Сиаргао и, может быть — у южной оконечности острова Минданао. После тщательного анализа маршрута мне стало ясно, что покинуть лайнер можно будет только в этих двух районах.

Тропик Рака мы пересекли в виду острова Тайвань. Из-за облаков показалось солнце, но было довольно прохладно. Дул сильный штормовой ветер. На всем водном пространстве до берега острова были разбросаны маленькие китайские джонки. Они очень мореходны — иногда весь корпус проваливался в волны и видна была только мачта. Туристы высыпали наверх и заполнили все палубы лайнера. Остров находился все же довольно далеко — горы отсюда казались голубыми и даже в бинокль трудно было разглядеть какие-нибудь детали. На лайнере заметно возросло оживление — то ли потому, что внезапно пришло лето, то ли потому, что люди лучше узнали друг друга. Кругом можно

было видеть много счастливых лиц — появились шумные, беспечные компании ребят и девушек, и по тому, как они многозначительно обменивались взглядами друг с другом, легко было догадаться, что у них появились какие-то свои, только им одним известные тайны.

В жилых палубах гул еще более усилился — дни и ночи превратились в один бесконечный праздник. Для непосвященного человека лайнер легко мог сойти за веселый сумасшедший дом.

Руководители рейса совсем отчаялись в своей попытке провести так хорошо продуманные и запланированные “культурные” мероприятия. Единственное, что еще оставалось руководству — это молить Бога о том, чтобы туристы хотя бы не повываливались за борт. Теперь вся армия зтейников днем и ночью дежурила на палубах и оттаскивала явно подвыпивших туристов подальше от борта. Но это случилось уже после события, вошедшего в историю круиза “Из зимы в лето” под названием “Пожарная тревога”.

Так уж случилось — капитан нажал на кнопку и на лайнере прозвучал сигнал учебной пожарной тревоги.

Время было явно неудачное. Туристы уже успели проснуться и опохмелиться, причем очень хорошо опохмелиться, когда вдруг услышали резкие трели непонятного сигнала.

Первая естественная реакция была у советских людей, как обычно, — не обращать никакого внимания и продолжать пить. Капитан правильно предвидел поведение своих туристов: по всем помещениям лайнера были спешно разосланы зтейники с приказом — вытряхивать всех из кают и посылать наверх со спасательными нагрудниками.

Но зтейники были тоже не дураки — они прекрасно знали, что их никто не станет слушать, и потому применили свой собственный тактический прием: “позабыли” сказать, что тревога всего-навсего учебная.

Заторы начались уже в коридорах. Некоторые туристы “выходили” из кают на четвереньках и тут же попадали под ноги бегущей толпы. Создавались такие фантастические сплетения мужских и женских тел, какие я видел только на каких-то очень древних картинах. Хорошо выпившие туристы страдали больше других — им оттапывали руки и уши. Довольно опасные ситуации возникали на крутых корабельных трапах. Иногда пьяные валились назад, навзничь, с самой верхней ступеньки и срезали целые “гроздьи” девушек, а те падая, визжали так, что ни о каких командах экипажа не могло быть и речи — и не услышать и не понять. Кое-где появились санитары с носилками — подбирать раненых. Кто-то успел размотать по палубам пожарные шланги и включить воду. Шланги наполнились водой и стали метаться из стороны в сторону, сбивая бедных туристов с ног. Какие-то пьяные шутники захватили один шланг и с восторгом поливали мощной струей воды всех без разбора. Мне стало казаться, что я попал на палубу гибнущего “Титаника”.

Капитан, похоже, уже пожалел, что он растревожил этот веселый му-

равейник. Он тут же дал команду "отбой", но ее никто не услышал — и не мог услышать. Боюсь, теперь если даже что и случится на лайнере, капитан трижды подумает, прежде чем снова подаст сигнал тревоги.

Потребовалось еще несколько часов, чтобы успокоить туристов, и вернуть их обратно. Я хорошо понимал, что поступаю не по-христиански, но не мог отказать себе в удовольствии понаблюдать еще одно представление — попытку тех, кто только что с таким трудом выбрался наверх, "сойти" вниз по крутым трапам. Благодаря спасательным нагрудникам им все же удалось избежать многих ушибов и переломов.

Это событие послужило началом нового "летоисчисления" на лайнере, где дни и ночи перепутались в сознании счастливых туристов. Отныне все местные происшествия делились только на два периода: до пожарной тревоги и после.

У острова Лусон капитан неожиданно изменил курс, и мы приблизились к берегу так близко, что увидели даже пальмы — на расстоянии каких-нибудь пяти-шести миль. К борту невозможно было протиснуться — казалось, все туристы и обслуживающий персонал вышли наверх, чтобы взглянуть на берега чужой земли.

На другой день, перед рассветом, я вышел на палубу. Меня окутал теплый, ласковый пассат, мощные кучевые облака плыли по небу, а кругом, насколько хватало глаз, — безбрежный фосфоресцирующий океан необыкновенной красоты.

В полдень мы опять приблизились к берегу. Небольшие коралловые острова манили бухтами и белоснежной короной бурнунов. Пальмы столпились у самой воды и призывно махали издали зелеными ветвями. Несколько из них, особенно бесстрашные, вышли на крошечный островок, сцепились листьями и раскачивались вместе под напором ветра. Иногда крупные волны склоняли свои головы-гребни к самому их подножью.

Через час или два мы снова стали удаляться в океан, а берег остался в памяти, как сон, как мираж... В дальнейшем, до самого острова Сиаргао, мы видели берега только далеко на горизонте.

Начались бесконечно счастливые дни... Я метался от борта к борту с горящими от бессонницы глазами и не мог наглядеться на эти живые декорации из волшебной сказки. Океан выбирал для меня самые нарядные волны, а облака спускались очень низко, приглашая лететь вдаль. Солнце поджидало меня, прежде чем спуститься за горизонт, а ночью я, как тень, бродил по палубе, встречая восход незнакомых южных созвездий. И все это под аккомпанемент моих любимых мелодий, так уж совпало.

Я чувствовал себя диким зверем, рожденным в неволе, которого впервые вывели погулять на цепи в его родные джунгли. Всего один прыжок отделял меня от этой влекущей красоты и свободы. Но нечего было и думать о том, чтобы среди бела дня оставить судно на виду у сотен глаз, — мгновенно будет спущена шлюпка. Ночь — время беглецов! Ночью совершались все известные побеги из тюрем.

“Была бы только ночка, да ночка потемней...”

И вот незаметно подкрался этот день, 13 декабря. Тринадцатое число не самая удачная дата для рискованных авантюр. Но если у тебя нет иного выбора, то приходится закрывать глаза на суеверный страх.

Утром я попросил знакомую девушку-астронома пойти со мной в штурманскую рубку, — с нею войти туда было проще. В рубке был только дежурный помощник капитана и матрос на руле. Пока девушка разговаривала с помощником, я подошел к навигационной карте. Лайнер находился еще далеко к северу от Сиаргао, но линия курса была проложена примерно в десяти морских милях от берега. Я успел заметить что остров гористый и, возможно, будет виден издали. Длина его была всего девятнадцать морских миль, — это значит, что мы будем идти параллельно береговой линии в течение часа. В 20 часов по корабельному времени лайнер должен был быть где-то на траверзе середины острова.

— Может, оставить судно позже? — внезапно струсил я.

— Где же еще? — строго возразил Дьявол-искуситель.

— У южной оконечности острова Минданао...

— Там наверняка сильные течения — ты даже не сможешь приблизиться к берегу, тебя пронесет мимо. И берег там очень горист, с отвесными скалами.

— А что, если в Макассарском проливе, прямо на экваторе, между островами Борнео и Целебес, — там мы будем в дрейфе два дня? Как раз, под “шумок” праздника Нептуна? У меня будет целых две ночи впереди! — не сдавался я.

— Этот пролив очень широк, с сильными течениями, а расстояние до ближайшего берега будет не менее сорока морских миль. Капитан — уж будь уверен — постарается держаться подальше от берегов.

— Может быть, я смогу оставить лайнер на обратном пути? — взмолился я.

— На обратном пути лайнер будет проходить все ближайшие к берегу пункты только в дневное время.

Да, последняя возможность — сегодня ночью. Сегодня или... никогда.

Я не вышел на завтрак. На обеде я присутствовал, но ничего не ел — перед длительным заплывом желудок должен быть совершенно пуст, я знал это по опыту. Утром я проделал очистительные упражнения йогов — выпил два литра воды и пропустил ее через весь кишечник, минуя мочевой пузырь. Я сделал также несколько других довольно сложных промывок вместе с дыхательными упражнениями.

Теперь я окончательно понял, что этот день будет действительно моим последним днем на лайнере.

С этого момента, когда я ясно осознал себя уже по ту сторону некой невидимой черты, я почувствовал, как у меня "проснулась душа".

Я не мог думать о будущем — у меня не было будущего. В назначенный час я беру свое плавательное снаряжение и иду на корму лайнера, потом прыжок в темноту и... полная неизвестность. Я не мог думать о прошлом — это было уже совсем не важно в эти последние часы. Все мое внимание остановилось на настоящем. Я отмечал каждый свой шаг, каждое чувство, каждое мимолетное движение души. Я чувствовал все, что происходило вокруг меня, я замечал сейчас множество мельчайших деталей в атмосфере, в поведении людей, в окружающей природе. Я стал необыкновенно пронизательным. Сначала я боялся, что окружающие не смогут не обратить внимания на мое изменившееся состояние, но их взгляды были так поверхностны, так быстро перебежали с одной вещи на другую, что им было ни до меня, ни "до себя". Мне казалось, я легко мог читать мысли и чувства людей. Но мой взгляд ни разу не встретился ни с чьим столь же пронизательным взглядом. Я вдруг стал понимать японских камикадзе, римских гладиаторов, контрабандистов, вообще всех тех, кто ждет поединка или условного часа побега. — Я готовился, если можно так выразиться, к "церемонии самопознания", к некому мистическому посвящению в тайны жизни и смерти. В таких случаях лучше быть одиноким.

Заход солнца прошел пышно и торжественно, наводняя небо всеми цветами радужных красок. Спустилась темная, беззвездная ночь. Лайнер приближался к северной оконечности остро-

ва Сиаргао. Я вышел на палубу. Дул сильный южный ветер, океан тяжело дышал огромными волнами. С запада приближались черные гроззовые тучи, временами сверкала молния.

Я поднялся на самый верхний мостик, но даже в бинокль не мог ничего разглядеть. Там, где должен был показаться остров, не было видно ни одного огня. Я спустился вниз на крыло штурманского мостика, и спросил вахтенного матроса о береговых огнях. Он, видимо, нашел мой вопрос праздным, посмотрел на юго-запад и ответил, что никаких огней на острове нет. Я и без него это видел.

А что, если капитан изменил курс и мы находимся дальше от берега, чем я предполагал?

Было уже около семи часов вечера. Я взглянул в последний раз туда, где должен был быть остров. Непроницаемый мрак. Все небо покрыто тучами. Молнии сверкали в разных сторонах горизонта почти непрерывно.

— Шторм идет! — взликовал я в душе. — Капитан не решится послать ночью шлюпку на розыски, не станет рисковать своими людьми. У меня будет целая ночь впереди!

Я пришел в ресторан к концу ужина — просто показаться. Все ленинградцы были на этот раз в сборе и оживленно беседовали. Я молча обвел всех взглядом. Мне не хотелось выдумывать какую-нибудь ложь в этот важный для меня момент.

— Я не скоро вернусь... — произнес я тихо, но внятно и направился к выходу, не дожидаясь дальнейших вопросов.

Я снова взобрался на верхний мостик и стал всматриваться в горизонт на западе. Никаких огней. Ни луны, ни звезд. А у меня даже компаса нет. — Не все ли равно, — подумал я. — Жребий брошен...

Я вернулся в каюту — сделать последние приготовления: надел короткую майку, узкие шорты и несколько пар носков, шею повязал платком — на случай, если появится кровь и придется перевязать рану.

Я присел на несколько минут в нерешительности. С этого момента я сознательно и добровольно делаю вызов государству. В моей жизни еще никогда не было столь критического мгновения.

Я снова услышал зов Океана в своем сердце. И сделал свой первый шаг в неизвестность...

В руках у меня была сумка с ластами, маской и трубкой. По-

верх плавательного снаряжения я небрежно положил полотенце. Я медленно пошел по коридору. Мне предстояло пройти около ста метров от носовой каюты, в которой я жил, до выхода на палубу и затем еще примерно столько же под открытым небом — до кормы. Мне казалось, что я иду по канату над пропастью.

Те, кто прошел такой путь, знают, что он проходит в другом психологическом измерении. Человек в нем меняется так, будто он прожил несколько лет. Если ты скован страхом, то ничего не заметишь, если внутренне свободен, то никогда этого не забудешь. У тебя останется жгучая тоска по этому иному измерению. В нем и только в нем чувствуется настоящая жизнь, а тот мир, из которого ты только что шагнул в неизвестность, сразу становится нереальным и похожим на обычный сон. Именно тогда я сделал для себя открытие. Внимание — вот тайна жизни! Острое внимание во вне и внутрь. Обычно мы живем в каком-то полусонном состоянии и только во время “мгновенных вспышек внимания” мы способны по-настоящему “видеть” и “чувствовать”.

На шлюпочной палубе, вблизи кормы, там, где проходил мой путь, начинались танцы. Я услышал одну из своих любимых песен: “Когда из родной Гаваны отплыл я вдаль...”

Я продолжал идти среди танцующих пар. Страх я не испытывал — я превратился в мальчишку, убегающего от бабушкиной опеки в манящий лес с дикими зверями.

Я спустился по трапу на корму главной палубы. Там стояла раскладушка и на ней сидели трое матросов. Я подошел к фальшборту и постоял несколько мгновений. Нельзя было прыгать прямо у них на глазах. Мне представилось, как они тут же дадут знать по телефону (он висел над их головой) на капитанский мостик, последует сигнал “Человек за бортом” и меня тут же начнут искать прожекторами.

Я опять поднялся на шлюпочную палубу и стал обдумывать создавшееся положение. Времени уже совсем не оставалось, через полчаса, согласно моим расчетам, лайнер минует остров.

Я снова спустился вниз. Два матроса куда-то исчезли, а третий стелил постель на раскладушке и повернулся ко мне спиной.

Я облокотился одной рукой о фальшборт, перебросил тело за борт и сильно оттолкнулся...

Полет над водой показался мне бесконечным. Я ясно осознал, что пересек не только границу государства, но и некий психоло-

гический барьер и оказался по другую его сторону совсем другим человеком.

Я хорошо рассчитал траекторию полета. Оказавшись за бортом, я резким движением развернул тело ногами к корме, а спиной к поверхности воды. Некоторое время я летел в этом горизонтальном положении, за кормой лайнера, пока не почувствовал, что сила инерции стала ослабевать и я падаю почти вертикально, спиной вниз. В этот момент я стал плавно поворачивать тело так, чтобы войти в воду ногами под небольшим углом. Я понимал, что мне не удастся погасить инерцию до конца и мне ни в коем случае нельзя принимать вертикального положения ногами вниз — меня могло “завалить” и ударить лицом и животом о воду. Я пролетел эти пятнадцать метров в темноте, как и ожидал, и удачно вошел в воду ногами под острым углом, не выронив сумку с плавательными принадлежностями, чего очень боялся. Меня сильно закрутило струей воды, но в последний момент я успел прижать сумку крепко к животу.

Затаив дыхание, я старался оставаться под поверхностью воды до тех пор, пока большое световое пятно кормовых прожекторов пройдет мимо. Какое-то время было совсем темно, потом я попал в поле яркого света. Мне показалось, что меня заметили и поймали в луч прожектора. Но вскоре наступила полная темнота. Я выбросил ненужное уже полотенце, надел маску с трубкой и сделал несколько глубоких вдохов. Вода была довольно теплой, при такой температуре можно плыть очень долго. Я надел ласты и перчатки с перепонками между пальцев. Сумка стала больше не нужна. Мои часы, со светящимся циферблатом, показывали 20 часов 15 минут по корабельному времени — я выбросил их позже, когда заметил, что они остановились.

Я был один в ночном океане — вокруг ничего, кроме черных нависших облаков. И ни одного огня! Тогда набрав воздух в легкие, я стал грести ластами так, чтобы можно было высунуться из воды по пояс. Я видел только вершины огромных волн и ночное небо. Лайнер исчез. Это меня так озадачило, что я не знал что и думать. Снова и снова я всматривался в темноту, в надежде обнаружить лайнер. Если я увижу бортовые огни, рассуждал я, лайнер разворачивается и меня будут искать, если кормовые — меня не заметили в первый момент или не заметили вообще. Наконец, когда я оказался на вершине самой высокой волны, я увидел кормовые огни лайнера примерно на расстоянии морской

мили. Я облегченно вздохнул. Даже если сейчас последует команда "Человек за бортом", лайнер успеет по инерции уйти на далекое расстояние. Я боялся возвращения лайнера больше всех других опасностей, вместе взятых. Возвращение на лайнер означало на моем языке нечто, еще страшнее смерти.

Я снова оглядел горизонт с вершины одной из громадных волн. Там, на западе, где должен быть остров, не видно было никаких огней. В течение получаса я все еще со страхом ожидал увидеть бортовые огни судна, но тревога была напрасной. Меня как будто никто не заметил.

Первое время я плыл, ориентируясь по изредка видимым огням уходящего лайнера. На западе часто сверкали молнии и слышались далекие раскаты грома. Восемь раз меня медленно поднимали и опускали громадные волны, и только с высоты "девятого вала" я видел линию горизонта и расплывающиеся во тьме огни судна. Я постоянно сбивался с выбранного курса — было очень трудно плыть при таком большом волнении. Я медленно выбирался на водяные валы, и мне казалось, что я ползу по дюнам в пустыне. Почти каждая вершина волны несла на себе светящийся гребень, который с шумом опрокидывался. Иногда порывы ветра срывали водяные брызги с поверхности воды, и они хлестали меня колючими иглами. Дышать было очень трудно. Часто гребни волн накрывали меня с головой, и я должен был перед каждым вдохом продуть свою трубку. Я внимательно следил за своим дыханием: делал первый пробный легкий вдох, затем, после энергичного выдоха, делал глубокий вдох и задерживал дыхание до тех пор, пока чувствовал легкую потребность в следующем (не менее минуты). Мне казалось, что я не продержусь на поверхности воды и часа с таким редким периодом дыхания. Если даже несколько капель попадет мне в легкие, то я уже не смогу отдышаться, я хорошо знал это по опыту.

Лайнер уходил все дальше, и теперь я был совершенно спокоен — меня никто не заметил, ведь прошло уже достаточно времени после побега.

Я то и дело сбивался с намеченного курса. Несколько минут я плыл по воображаемому направлению среди водяных холмов, пока самая высокая волна не подхватывала меня на свою вершину. Тогда находил огни лайнера не слева от меня, как ожидал, — а сзади, или справа, или даже впереди. Я снова разворачивался на запад и надолго опускался вниз в "долину". Иногда я

не успевал найти огни с высшей точки, и мне приходилось ждать следующей волны.

После десятка таких случаев я вдруг ясно осознал, что долго так продолжаться не может — лайнер скоро скроется из вида. Что я буду делать потом? На юго-востоке горизонт был темнее, чем в других направлениях. На западе постоянно сверкали молнии: оттуда прямо на меня двигались большие грозовые тучи, Ориентироваться по направлению ветра было неразумно, оно могло быстро измениться. Оставался единственный более-менее постоянный ориентир — расположение облаков.

— Если постоянно следить за изменением облачности, — рассуждал я, — то еще несколько часов можно будет доверять избранному курсу.

Я часто вглядывался в горизонт на западе и все еще надеялся увидеть береговые огни острова, но увя — надежда была напрасной.

Когда лайнер наконец скрылся на горизонте совсем, я почувствовал, что остался абсолютно один в ночном, штормовом океане. Вскоре тучи повисли над самой моей головой и пошел ливень. Расположение облаков изменилось настолько, что я стал сомневаться в выбранном направлении. Я мог оглядывать небо только при задержанном дыхании, это нарушало его ритм, и мне приходилось после этого на некоторое время концентрироваться только на моей трубке, не обращая внимания ни на что больше.

Я часто менял курс — то мне казалось, что нужно плыть в одном направлении, то — в другом. Пока возможная ошибка была не более девяноста градусов, я мог продолжать движение, но когда я обнаружил, что не могу с уверенностью сказать, плыть мне в этом или прямо в противоположном направлении, я остановился и стал осматривать ночное небо.

Облачность была очень густая. Ни одной звезды не было видно. Если бы мне не нужно было уделять так много внимания своему дыханию, я бы смог, возможно, продержаться на верном курсе до самого утра, наблюдая за развитием облачности у линии горизонта. Мне же приходилось большую часть времени оставаться внизу и всего несколько секунд — на вершинах самых высоких волн. Практически, я видел только облака над головой.

Когда наконец я понял, что у меня больше нет никаких ориентиров, я остановился и решил подождать до утра. Мне казалось, что еще даже полночь не наступила, а у меня нет никакой надежды найти дорогу в этом страшном ночном океане.

И во мне стал рождаться страх. Волны страха двигались от рук и ног, подступали к сердцу и затем шли через шею к голове. Страх начал душить меня, дыхание стало учащенным, и я почувствовал, что задыхаюсь. Гребни волн по-прежнему часто опрокидывались мне на голову, заливая трубку, и я понял, что в таком состоянии мне не продержаться на воде и получаса.

Я верю, что от страха можно умереть. Я вспомнил тех моряков, которые погибали — без особых на то причин, — в первые несколько дней после кораблекрушения. Происходит какое-то самовозбуждение — одна волна страха вызывает другую, еще большую. Я почувствовал, как судороги стали сжимать горло, мне хотелось кричать. Еще несколько мгновений — и я задохнусь.

В этот момент у меня мелькнула мысль, что я нахожусь далеко еще не в безнадежном состоянии и просто убиваю сам себя. Я собрал всю свою волю и “взглянул в лицо” страху. Этому приему я научился давно, еще когда ходил по ночам на кладбище и упражнялся в храбрости. Мне было тогда лет 7–8, и мне почему-то думалось, что только там я смогу выработать в себе бесстрашие. Это очень простой прием, когда его вполне освоишь. Если “отведешь глаза” на мгновение, страх снова набрасывается с прежней силой. Нужно удержать концентрацию некоторое время и целиком погасить его волны.

Страх прошел. Я снова почувствовал, что могу дышать равномерно и глубоко. В моем положении ничего больше не оставалось, как дожидаться утра, просто держась на поверхности. Я понял, что не смогу найти дорогу без звезд.

Я так был занят первым этапом побега, что совсем упустил из вида второй — добраться живым до берега. Если бы у меня был компас... Почему-то я представлял тропики совсем иначе — неподвижно повисшие паруса... палит солнце... теплые, влажные ночи с яркими, как изумруды, звездами... или полная луна медленно скользит среди редких облаков...

Прошло несколько томительных часов. Я старался просто удержаться на поверхности, экономя силы. Незаметно подкралась большая черная туча и вылила на меня потоки пресной воды. Мне удалось сделать два-три глотка, предварительно отодвигув трубку и задержав дыхание. Пить не хотелось, но кто знает, сколько еще времени мне придется пробыть без воды?

Ветер стал как будто стихать. На меня реже опрокидывались

гребни волн. Облака поредели, и среди них заулыбались одинокие звезды. Ночь была безлунной.

Вдруг я заметил очень яркую звезду в разрыве облаков. Это могла быть только планета Юпитер. Я попытался запомнить расположение облаков на случай, если планета скроется из вида, и уверенно двинулся на запад. Юпитер исчез так же неожиданно, как и появился, но теперь я был обеспечен верным направлением, по крайней мере, еще на пару часов. Немного позже, когда облака раздвинулись шире, я увидел "пояс" Ориона на юго-востоке. Я уже мог плыть по прямой линии, почти не сбиваясь с курса. Иногда я просто переворачивался на спину, чтобы лучше видеть облака, и продолжал двигаться на запад, не останавливаясь.

Я заметил какой-то огонь на западе. Вскоре он раздвоился, оба огня стали ярче и ближе. В то же время большая темная туча нависла надо мной и закрыла большую часть неба. Хотя мне очень не хотелось держать курс по непонятным огням — это могло быть движущееся судно, и мне пришлось бы плыть за ним неизвестно куда, я продолжал плыть на эти огни, другого выхода не было. Волны по-прежнему оставались огромными, и большую часть времени я проводил "в долине" среди "песчаных дюн". Потом прошел небольшой дождь, и ветер прогнал тучу куда-то на юго-восток, верхние облака закрывали от меня почти все небо, а Юпитер больше не показывался. Иногда я видел отдельные звезды, но не мог определить, к какому созвездию они принадлежат. Вскоре и эти странные огни куда-то пропали. Я снова был вынужден остановиться и ждать.

Во время движения я не чувствовал холода, но когда просто держался на поверхности воды, было чуть-чуть прохладно.

Мне вспомнились далекие дни детства, когда я еще совсем не умел плавать. Тогда я жил в городе Семипалатинске, позже получившем печальную известность своим ядерным полигоном, где проводились многочисленные, иногда по несколько раз в день, испытания атомных и водородных бомб. В то время этот подземный полигон еще только строился и все называли это место почему-то "Луной".

Семипалатинск расположен на берегу большой сибирской реки Иртыш. Летом я часто ходил с ребятами купаться и ловить рыбу. Мне было всего лет 7—8, плавать я не умел, и моя мать отпускала меня только с одним условием — "даже близко не подходить к воде". Для уверенности она брала с меня честное слово и никогда не забывала этого делать в каждом индивидуальном случае.

Я сидел на берегу и с тоской смотрел, как плавают и ныряют мои свер-

стники — ни у кого больше не было такой строгой мамы. Надо мной смеялись, звали купаться, прикрепили ко мне самую позорную кличку, из всех мне известных, — “маменькин сынок”, но я ни разу не нарушил данного мной обещания.

Однажды родители отправили меня в пионерский лагерь на все лето, и мать забыла взять с меня честное слово. Это был мой единственный шанс научиться плавать, и, само собой разумеется, я не мог его упустить. Пионерский лагерь был расположен в сосновом бору, а в километре от него находилось глубокое озеро с заросшими обрывистыми берегами и водяными белыми лилиями в нем. Там никто не купался, оно пользовалось дурной репутацией, говорили, что там живет “водяной”. Каждую ночь, когда все в лагере засыпало, я убегал один на это озеро и учился плавать. Это было не легко, конечно, — вообще-то я был ужасный трус.

Через два года после этого, однажды летом, я объявил всем сверстникам на нашей улице, что собираюсь переплыть Иртыш, и пригласил желающих присоединиться ко мне. Иртыш — глубокая судоходная река с обрывистыми берегами, множеством водоворотов и стремительным течением. Ширина его у Семипалатинска — более полукилометра. Обычно все жители города любили плавать в его нешироких безопасных протоках с отлогими песчаными берегами и спокойным течением. Никто из знакомых мальчишек и даже взрослых парней не захотел поплыть со мной, и они, пожалуй, были правы. Чтобы выплыть на противоположный берег реки в желаемом месте, нужно было зайти против течения не менее трех-четырех километров, может быть даже и все пять — тогда я совсем не представлял, как далеко меня снесет течением.

Ясным солнечным утром я незаметно вышел из дома в сопровождении двух друзей — пора было исполнять задуманное.

На другом берегу Иртыша был небольшой поселок — Жана-Семей, а к югу от него в каких-нибудь 10–15 километрах располагался будущий ядерный полигон — я очень хорошо знал ту местность. Через реку пролегал железнодорожный мост, и его усиленно охраняли от “американских шпионов”. Под мост могли проходить только пароходы — охрана моста стреляла без предупреждения во всех, кто приближался к мосту вплавь или на лодке, и все это хорошо знали. Мне нужно было успеть переплыть реку до моста, потому что за мостом был порт и там вообще запрещалось купаться.

Сначала я переплыл Семипалатинку — проток Иртыша метров сто шириной — и выбрался на остров. Было только начало лета, и временный понтонный мост туда еще не успели навести. Этот остров очень красив летом — трава там вырастает выше человеческого роста, весь он покрыт огромными деревьями и густым кустарником. В это время года он почти необитаем.

Несколько часов я пробирался в чаще на противоположную сторону и еще столько же шел по берегу Иртыша против течения до самого конца острова. Я никого не встретил по дороге. Но когда, подойдя к своей конечной цели, я смерил взглядом все расстояние, в меня вселился страх — мост едва был виден вдали, вниз по течению.

Но отступать было уже поздно. Я вошел в воду и решительно поплыл к противоположному берегу.

Я был уже почти на середине реки, когда заметил большой пароход, идущий вверх по течению. Сначала я решил его пропустить, но уже минут через двадцать осознал, что у меня не останется времени добраться до противоположного берега — железнодорожный мост отчетливо вырисовывался на фоне неба. Я порядком устал и все же поплыл вперед, хотя наши курсы с парходом стали пересекаться.

Меня обругали пышной бранью: я оказался у самого носа парохода и чуть не попал под его вращающиеся колеса — винтов на речных судах тогда еще не было.

Прошел еще час или больше и я наконец выбрался на противоположный берег почти у самых проволочных заграждений — запретной зоны моста.

Чувство удовлетворения и гордости скоро уступило место чувству вины перед матерью. Солнце уже склонилось к горизонту, а мне предстояло проделать весь обратный путь — пройти по берегу километров пять вверх по течению босиком по камням, снова переплыть Иртыш так, чтобы успеть зацепиться за остров перед мостом, пересечь весь остров и снова переплыть Семипалатинку. Я не мог позвонить домой — телефонов в городе не было — и не мог сесть на поезд, чтобы вернуться в город. У меня не было ни одежды (я ее спрятал на острове), ни денег, — а контролеры в советских поездах неумолимы. Я снова переплыл Иртыш на заходе солнца, а когда совсем стемнело — Семипалатинку. Искать одежду на острове времени уже не оставалось, и я пошел по ночному городу в плавках.

Если бы моя милая мама знала, к чему приведут все ее запреты и строгости.

Облака опять поредели и кое-где стали видны сначала одинокие звезды, потом целые их группы. Все же я недостаточно хорошо знал звездное небо, чтобы угадать созвездие по его отдельным частям. Наконец мне удалось различить созвездие Близнецов, потом снова “пояс” Ориона и очень яркую звезду на его линии — Сириус. Я опять мог плыть прямо на запад, руководствуясь этими надежными ориентирами.

Моя неумеренная, безграничная любовь к морю стала причиной всех моих жизненных неудач. Эта страсть появилась с того самого момента, как я начал себя помнить и осталась на всю жизнь.

Мои ближайшие родственники и все их предки были безнадежно сухопутными людьми, и, пожалуй, на всем земном шаре не найдется другого места, более удаленного от моря, чем город моего детства Семипалатинск — в самом центре Азии, Казахстане. О море я перечитал “все” рассказы, но это меня совсем не удовлетворяло. Мои родители считали, что вся эта блажь с годами пройдет, как проходит у многих — им хотелось видеть меня дипломированным инженером.

Но только я один знал совершенно точно, что никогда не стану не только дипломированным инженером, но даже просто взрослым человеком.

В 15 лет, как это было принято с древнейших времен среди почитателей морей, я убежал из дома (в Ленинград) и попытался устроиться юнгой на корабль, уходивший в дальнее плавание. Но увы — я родился не в то время и не в той стране. Я не мог отправиться в плавание сразу по трем причинам: у меня не было визы, я не был прописан в Ленинграде и не достиг еще шестнадцати лет.

Много позже я снова приехал в Ленинград и поступил в Океанографический институт, но визы для настоящего дальнего плавания так никогда и не получил.

Я силой заставил себя вернуться к реальности. Прошло уже много часов, и, вероятно, перевалило за полночь. Орион миновал свой зенит и оказался на северо-западе, прямо передо мной, во всем своем блеске. Потом наступающий рассвет погасил все мои звезды, и я острее почувствовал одиночество. Я поплыл медленнее, ориентируясь только по расположению облаков.

Небо было сначала серым, потом появились бледные сине-фиолетовые тона. Через несколько минут краски стали ярче, прорезав небо темнокрасными полосами. а облака нарядились в желтые одеяния. Восходящее солнце показалось над океаном. Меня окружали большие волны зыби. Облака стали розовыми и метались по небу в самых различных направлениях. День был ветренный.. Было как-то странно сознавать, что всего неделю назад я ходил в зимней одежде и был сильный мороз.

На западе, над самой линией горизонта я увидел бутоны кучевых облаков. Но как я ни вглядывался, я не мог различить среди них ничего больше. Земли на горизонте не было видно. Я испугался. Неужели я ошибся в своих расчетах? Может быть, меня сильно снесло течением за ночь? Может быть, капитан изменил курс и лайнер удалился от острова? Может быть, лайнер не дошел до острова или прошел его, когда я прыгнул за борт? Все могло быть и еще хуже того — все вместе. Никаких следов земли на западе не было... Я оглядывал весь горизонт снова и снова. Океан был совершенно пуст. Небо и океан.

К сердцу снова подступил страх. Надвигалась настоящая опасность — мой призрачный остров пропал.

Земля должна была быть где-то на западе, относительно близко. Остров Минданао находится в какой-нибудь сотне миль. Если бы у меня была маленькая лодка, или плот, или хотя бы бревно!

Внезапно я вспомнил о другой, не менее грозной опасности: на лайнере, наверное, уже обнаружили мое отсутствие. Лайнер может

вернуться, теперь меня очень легко найти и, как провинившегося котенка, вытащить за шиворот из воды.

— Нет, — вздрогнул я невольно. — Только не это. Пусть уж все остается, как есть. Я предпочитаю общество акул. Лучше умереть в океане свободным.

Именно эта опасность — возвращение лайнера — снова меня подстегнула — надо выжить, чтобы вселить надежду будущим беглецам и потерпевшим кораблекрушение. Вперед, только на запад, пока хватит сил. И я снова поплыл...

Нельзя сказать, чтобы я только сидел у окна и мечтал о путешествиях и приключениях. Я очень много и всесторонне тренировался. Один год я полностью посвятил упражнениям в голодании и в общей сложности ничто не ел треть года, только стакан воды в день. Я начал с десяти дней. Потом, после месячного "отдыха", я снова перестал есть и продержался 21 день. Я был уверен, что смогу прожить без пищи гораздо дольше. Я хотел проголодать классический срок — 42 дня, но мне пришлось остановить этот эксперимент после 30 дней.

После двух тренировочных голоданий последовательно, в 12 и 14 дней, я снова отправился в длительное "путешествие" без еды. На 36-й день я не выдержал: во рту стала появляться сладкая слюна — вкус был такой, что я содрогался от отвращения. Я не спал три ночи и сильно ослаб. В это время я жил одиноко в лесу и когда случайно встречал кого-нибудь из людей во время своих прогулок, видел в их глазах ужас, настолько я был худ. В последний день голодания я отправился в Ялту на базар и стоял два часа в очереди за пучком редиски. Продавец у прилавка понимающе спросил: "Язва желудка?"

В течение года, после этого эксперимента я не мог есть никакую пищу, содержащую сахар...

Я снова очнулся. Кругом был совершенно пустынный океан — ни дельфинов, ни птиц, ни летучих рыб.

Иногда я вглядывался в глубину, но ничего не видел, кроме сине-фиолетовых красок и каких-то теней, не то акул, не то каких-то крупных морских чудовищ. Мне не хотелось думать об акулах: за мыслями по пятам всегда следует страх.

Вскоре облака заполнили все небо, и солнце больше не показывалось. Снова прошел легкий дождь.

После полудня, когда солнце чуть-чуть прошло свой зенит, я заметил среди белых кучевых облаков на горизонте слабый неподвижный контур.

Опять я поджидал каждый "девятый вал", чтобы убедиться — земля это или просто... мираж?

Ветер стал заметно стихать. Облака уже не метались в небе,

как раньше, а стройно двигались с юго-запада на северо-восток. И только на западе они высились неподвижно, как взбитые сливки. У меня появилась надежда, что остров все же где-то близко. Не может быть, чтобы облака так упорно держались на одном месте над водой. Во всех других направлениях они то появлялись, то исчезали.

Я знал по опыту, что над горами постоянно парят кучевые облака, а остров Сиаргао был гористым. Солнце стало светить из-за облаков сверху, прямо мне в лицо. Было около двух часов дня. Я снова заметил на западе едва различимые горные пики. Они начинались где-то южнее и исчезали в башенках густых облаков. Иногда я как-будто видел слабый неподвижный контур гор дальше к северу, где облака были чуть-чуть реже.

Прошел может быть час или два. Теперь я видел неподвижный зубчатый контур уже из любого положения — мне не нужно было поджидать самую крупную волну.

— Земля!!! — я не мог отказать себе в удовольствии — прокричать это магическое слово и заодно услышать звук собственного голоса.

Может быть, это и есть мой призрачный остров Сиаргао? Я чувствовал себя почти победителем — теперь у меня была надежда.

Последний раз выглянуло солнце, как будто попрощаться со мной, и скрылось. Через несколько минут небо запылало всеми цветами радуги — яркие краски быстро сменяли друг друга прямо на глазах. Сначала облака приняли густой красный цвет, затем их края стали ярко оранжевыми. Чуть позже они перекрасились в желтый, а их центр приобрел красивый розовый отлив. Спустя какое-то время облака стали сиреневыми и яркофиолетовыми. Быстро стемнело. Наступила моя вторая одинокая ночь в океане.

Незаметно зажглись звезды. На западе, там, где скрылся из вида мой таинственный остров, я увидел множество огней. Они разбрелись по склонам гор и кое-где у линии горизонта. Ночь была очень темной, на поверхность воды спустилась мертвая тишина. Равномерное дыхание океана очень успокаивало, и я чувствовал себя почти в безопасности. В первую ночь опрокидывающиеся гребни волн вызывали свечение всей водной поверхности, но теперь, когда океан затих, каждое мое движение сопровождалось голубоватым языком пламени и было похоже, что я горел на медленном огне.

Разумеется, я был виден из глубины, как на ладони. Я читал где-то, что как раз в такие звездные ночи выплывают на поверхность разные чудовища: морские змеи, гигантские кальмары, огромные скаты, выходят на ночную охоту акулы... С тихим ужасом и любопытством я ожидал их. Временами я слышал звуки, напоминающие журчание ручейка в лесу, и зовущие меня голоса. Наиболее отчетливо я улавливал музыку и пение, чаще приятный женский хор. Временами было так тихо, что становилось совсем жутко. Я старался производить как можно меньше шума, но не вызывать свечения воды мне никак не удавалось. Оно прекращалось только тогда, когда я совсем не двигался. А ведь мне надо было плыть... Меня успокаивали легкие, мирные всплески волн — они, как музыкальные аккорды, так незаметно прерывали зловещую тишину, что, казалось, я сижу на берегу спокойного озера и его волны чуть-чуть накатываются на берег у самых моих ног. Мне чудилось, что вот сейчас выплывет морская нимфа из глубины, кокетливо помашет хвостом и призывно засмеется. Потом появятся самые диковинные существа: nereиды и тритоны на панцирях морских черепах. Я постоянно ощущал рядом чье-то присутствие. Часто за моей спиной раздавались тяжелые вздохи, хохот и стоны... Под водой я видел вспыхивающие огни, непонятное свечение и фосфоресцирующие следы невидимых морских созданий. Я боялся долго смотреть в глубину — мне могло показаться Бог знает что!

Но увы — никто не появлялся и ничто не нарушало тишину океана. Я наконец отважился поднять маску на лоб, отодвинул трубку в сторону и мог дышать носом. Глубокое ритмичное дыхание рассеивает страхи. В продолжении всего пути я, насколько мог, старался сохранять спокойствие — пусть акулы думают, что я тоже здесь живу! Это было мое единственное оружие...

За последние несколько часов я заметно приблизился к острову. У меня даже мелькнула мысль, что я могу добраться к нему этой же ночью, в крайнем случае — утром.

У меня стали уставать ноги, я поплыл медленнее, пытаюсь ввести в работу другие мышцы, но это улучшило состояние не надолго. Я мечтал встретить дельфинов или больших морских черепах и попросить их помочь мне, но их почему-то не было поблизости. (Иногда они помогали, я читал об этом.) Я не мог позволить себе забыть даже на минуту-другую: нужно было держать под контролем дыхание. Я делал очень глубокие вдохи, а при таком

медленном ритме дыхания легко втянуть мельчайшие капли воды прямо в легкие и закашляться — со мной это не раз случалось прежде на воде и под водой. Я хорошо знал, как тяжело проплыть в таком состоянии даже короткое расстояние до берега или до лодки.

Есть и пить мне совсем не хотелось — я настроил себя на самые непредвиденные обстоятельства. Мне казалось, что я могу легко выжить без воды в течение двух недель и не менее двух месяцев без пищи с небольшим количеством морской воды. А что потом? Будет видно... всегда что-нибудь находится...

В воздухе появилась легкая дымка и весь остров вдаль стал бледноголубым, почти прозрачным. Его цвет почти не отличался от цвета голубого неба, но хорошо видимая контурная линия позволяла верить, что это все же не мираж.

Прошло еще несколько часов. Я с удовлетворением обнаружил, что южная оконечность острова, особенно у горизонта, стала как будто чуть-чуть темнее и значит должна быть ближе. Я изменил курс и направился на юго-запад. Как позже оказалось, это была непростительная оплошность.

До полудня облака прикрывали солнце, но после я попал под его жгучие лучи. Теперь, когда оно прошло через зенит и светило мне сверху в лицо, открытые солнцу плечи, руки, грудь и часть спины стали нестерпимо гореть. Но к счастью снова появились белоснежные кучевые облака, нависли надо мной и спрятали в своей тени.

После полудня я увидел довольно близко черный предмет — мне показалось в первый момент, что это днище перевернутого судна. Я видел этот предмет только с вершины "девятого вала", и мне никак не удавалось к нему приблизиться. Потом он неожиданно пропал. Это могла быть плоская, одинокая скала или риф, а может что-нибудь другое, кто знает?..

Примерно в это же время я попал в полосу сильного берегового течения и меня стало сносить к югу — но я обнаружил это, когда было уже поздно. Мое внимание отвлек корабль, который я заметил к югу от себя. Сначала я увидел высокие мачты прямо над линией горизонта, а корпус почему-то долго не показывался. Когда он наконец показался, я без труда опознал небольшой рыболовный сейнер, тонн на 500—600. По моим расчетам я уже был в трехмильной береговой зоне, и мне не было смысла его опасаться. Судно шло прямо на меня, и я даже перестал плыть.

Но не доходя четверти мили, оно вдруг изменило свой курс и прошло мимо в каких-нибудь 100–200 метрах на север между мной и островом. На палубе никого не было, и сколько я ни махал руками, сколько ни звал — меня никто не заметил. А я был так уверен, что оно послано самим Богом!.. И когда оно удалилось, я почувствовал глубокое разочарование, близкое к отчаянию.

Близился вечер. Океан вокруг меня был полон жизни — из воды часто выскакивали крупные рыбы, прямо над моей головой пролетали большие птицы. Впереди я уже отчетливо видел остров. Он был сказочно красив. Вдоль всего побережья протянулась цепочка игрушечных пальм. Прямо напротив меня я видел крутые, отвесные скалы, покрытые густой растительностью, и вход в живописную бухту. Поверхность гор переливалась всеми оттенками зеленого, и только кое-где небольшие белые пятна указывали на наличие обнаженных пород. Бутоны белоснежных кучевых облаков неподвижно замерли, чтобы скрыть нагие вершины синееющих гор, а может быть что-то еще, таинственное и непостижимое.

Остров казался необитаемым. Я не видел никаких явных признаков жилья, ни дыма от очагов, ни каких-нибудь построек.

Прошло около часа, может быть больше. Было необыкновенно тихо. И вдруг, к своему ужасу, я обнаружил свою оплошность — мой остров стал заметно смещаться к северу и продолжал неумолимо двигаться в этом направлении, прямо на моих глазах.

Прежде чем я сообразил, что происходит, и резко изменил свой курс прямо на север, передо мной открылась южная оконечность острова, а там, дальше — открытый океан до самого горизонта!

Я оказался полностью во власти течения и со страхом наблюдал, как оно медленно пронесет меня мимо земли.

Как ни старался я плыть энергичнее, как ни пытался выжать все, что еще оставалось в моих усталых мускулах, — расстояние между мной и берегом не сокращалось.

Теперь я уже плыл прямо на север. Я все еще надеялся на чудо. Но постепенно берег отодвигался все дальше и дальше, и я понял, что у меня нет никакой надежды выбраться на этот заколдованный остров.

Я очень устал и неподвижно повис в воде. Стало темнеть. Мое

тело медленно поднимали и опускали большие, пологие волны зыби. Отдохнув, я медленно поплыл на север — больше плыть было просто некуда. Остров Минданао был слишком далеко.

Незаметно подкралась моя третья ночь в океане... Стало совсем темно. Через некоторое время я увидел два огня на северо-востоке — не то в море, не то на берегу. Огни были недалеко друг от друга и мигали с постоянно изменяющимся периодом. Похоже, думал я, какое-то судно ловит рыбу на свет. Огни казались очень далекими, но мне ничего не оставалось, как придерживать-ся этого курса. Надо же было плыть хоть куда-нибудь!

Ноги перестали мне повиноваться и беспомощно повисли — я двигал тело только руками. Было такое ощущение, будто ноги совсем отсутствуют, — только дотронувшись до них, я мог убедиться, что они на месте. Когда ноги снова "появлялись", я пытался ввести их в работу. Постепенно ноги стали "исчезать" все чаще и чаще.

Сильно горели обожженные солнцем лицо, шея и грудь. Меня лихорадило и все больше клонило ко сну. Временами я ненадолго терял сознание. Боясь сбить дыхание, я опустил маску и взял в рот загубник.

Наконец ноги совсем отказались мне служить и безжизненно повисли. Легкие, однако, по-прежнему работали ритмично, как и в начале пути — сказались долгие тренировки в дыхании по системе йоги, и я мог бы еще долго работать руками.

Меня била сильная дрожь. Я стал все чаще терять сознание, а когда оно возвращалось, я обнаруживал, что плыву не к огням, а от огней.

Вскоре я совсем потерял понятие о времени, и мне стало казаться, будто я плыву уже очень и очень давно — целую вечность. У меня, похоже, начались галлюцинации. Стоило мне чуть-чуть сконцентрироваться на мимолетных видениях-мыслях, как они тут же начинали принимать вполне осязаемые формы.

В первую и вторую ночь свечение водной поверхности вокруг меня было вызвано только плавательными движениями. Теперь же оно вообще не затухало — похоже, на мне уже основательно поселилась колония фосфоресцирующего планктона. Мне стало труднее видеть все, что происходит в нескольких метрах от меня, из-за собственного света.

Будучи в состоянии полутранса, я мог видеть все, что было передо мной на сотни метров вперед. Стоило только моему взгля-

ду "побежать" дальше, как я легко схватывал все окружающие детали вплоть до самого острова. Хорошо помню, как один раз я "пробежался" равнодушным взглядом от берега через весь остров прямо к вершинам гор.

Мое неверие, как всегда, подвело меня. Только позднее я понял, что действительно видел внутренним взором все, что было на моем пути к острову.

Огни не приближались. Это могло быть какое-нибудь уходящее судно. И я подумал о смерти. Мне казалось, что, пожалуй, бессмысленно продлевать свою жизнь еще на несколько мучительных часов. Я уже не надеялся встретить рассвет...

Эта моя третья ночь в океане была очень темной, гораздо темнее двух предыдущих. Я пытался оглядеться вокруг, но ничего не видел, кроме тех мигающих огней.

Я решил умереть. В моем положении сделать это было довольно трудно. (Я очень жалел, что не взял с собой ножа.) Я знал только два способа: один — наглотаться воды, сбросив все плавательное снаряжение, другой — нырнув, задержать дыхание до наступления кислородного голодания. Второй способ казался менее мучительным и более надежным.

Я не боялся смерти. Мне много раз уже приходилось умирать в моих ярких сновидениях — я был зарезан ножом в живот; меня убивали из всех видов огнестрельного оружия; приговаривали к повешению; пару раз мне отрубили голову на гильотине, пару раз — утащили под воду.

Но тут я услышал тихий голос: "Плыви на шум прибора..."

Действительно, вдали уже некоторое время был слышен какой-то глухой рокот, на который я совсем не обращал внимания. Теперь же я стал прислушиваться, и мне показалось, что в той стороне слышен характерный звук реактивных самолетов — как будто они часто приземлялись и взлетали.

Внутренний голос продолжал настойчиво повторять, чтобы я плыл именно на шум прибора — он был от меня где-то слева, а я двигался к огням, все еще видимым далеко впереди.

Наконец я повиновался, изменил свой курс и поплыл на шум прибора. С этого момента я потерял контроль над временем и снова по-видимому впал в состояние транса.

Каждый раз, когда я приходил в себя среди высоких волн, я чувствовал глубокий душевный перелом, какие-то необратимые явления в психике и во всем теле — я переживал потерю чего-то

бесценно чудесного. С удивлением обнаруживая себя в ночном океане, я медленно припоминал все, что со мной произошло. Тела я почти не чувствовал, но продолжал делать плавательные движения руками. Вокруг меня неустанно качалась огромная светящаяся масса движущейся воды. В памяти возникали какие-то смутные обрывки воспоминаний, но я никак не мог связать их в одно целое. Я только хорошо помнил одну сцену: меня вздымают штормовые волны за бортом очень большого корабля с яркими огнями, а корабль удаляется и я остаюсь один в океане. Больше я ничего не мог вспомнить.

Прошло бесконечно много времени. Вдруг меня сильно встряхнуло, и я стал неудержимо падать куда-то в бездну. Ясно помню свою первую мысль: "Я еще жив! Я на рифе!" Волна отхлынула, и я оказался в пенистой, кипящей воде, а рев прибоя переместился в сторону. Я окончательно пришел в себя и начал соображать, что же делать, но тут снова услышал приближающийся гул.

Свечение моря вблизи меня создавало впечатление полной темноты вокруг — точно такой же эффект наблюдается, когда сидишь у пылающего костра ночью. Но то, что я увидел, неожиданно, в каких-нибудь тридцати-сорока метрах от себя, врезалось в мою память на всю жизнь.

Это была гигантская волна с крутым, очень медленно падающим гребнем. Я никогда в жизни не видел таких огромных волн — мне казалось, что она даже чуть-чуть касается неба. Ее гребень был окружен светящимся ореолом, а вся волна была залита голубоватым сиянием от подошвы и до вершины.

Само собой разумеется, эта волна была, скажем, не больше тех волн, которые рождаются с внешней стороны рифов во время крупной океанской зыби. Ведь я находился у самой ее подошвы, где вообще очень редко бывает наблюдатель. Но с моей точки зрения эта волна казалась гигантской и сказочной. Она двигалась очень и очень медленно и была фантастически красива. Я видел ее чуть-чуть сбоку, полностью был захвачен ее созерцанием и еще не подозревал об опасности. Линия ее изгиба была настолько совершенной, что казалась живой и одухотворенной, благодаря идеальным соотношениям высоты волны и гребня на ней. Обычно не очень высокие волны несут на себе слишком крутой гребень, и он рушится прежде, чем линия изгиба достигает полного завершения.

Волна как будто стояла на одном месте и казалась сотканной

из голубоватого сияния с многочисленными вкраплениями световых брызг. Чарующий изгиб ее гребня, как лебединая шея, продолжал сохранять свою совершенную форму — вода свободно переливалась через него, плавно стекая на склон небольшим водопадом света и танцующими языками пламени.

Волна наступала широким фронтом и немного отставала как раз в том месте, где я находился.

Внезапно я услышал глухой рокот справа от себя, повернул голову и замер от неожиданности — я тут же понял: “Это конец”.

Водяная гора — иначе ее не назовешь — отчетливо вырисовывалась в темноте и двигалась прямо на меня, но так медленно, что в течение нескольких секунд я с ужасом и как замороженный следил за ней. Эта волна не обрушилась на меня, как я невольно ожидал. Какая-то неумолимая сила потащила меня наверх по ее не очень крутому склону, прямо к самому подножью падающего гребня. Я инстинктивно схватился за маску с трубкой и успел сделать глубокий вдох. Гребень стал рушиться на меня, а затем меня затянуло под него. Какое-то мгновение я находился все еще в воздухе, прямо под гребнем, как в пещере. Потом мое тело оказалось в бушующем потоке воды — внутренние силы волны извивали меня винтом, переворачивали много раз через голову, крутили во все стороны, пока не ослабли. Я стал всплывать на поверхность, совершенно не представляя, как глубоко под водой я мог оказаться. Я успел лишь отметить про себя, что меня не ударило о риф и моя маска с трубкой находится со мной; я пошевелил ногами — ласты также были на месте.

У меня хватило дыхания добраться до поверхности, хотя — по моим ощущениям — я всплывал довольно долго. Я стал жадно глотать свежий воздух через трубку и наконец понемногу отдышался. В это время я увидел новую гигантскую волну на близком расстоянии от себя в ореоле света и голубоватого пламени.

— Где же риф? И сколько еще волн я смогу выдержать? — соображал я.

Волна приближалась очень медленно, царственно, торжественно. Я стал делать глубокие вдохи и выдохи, стараясь накопить больше кислорода в легких. На этот раз волна казалась мне гигантской змеей, которая, красиво изогнув шею, готовилась броситься на меня каждую секунду. В следующее мгновение я был проглочен этой волной-змеей. У меня едва хватило дыхания дотянуть до поверхности — я дышал уже без всякой предосторож-

ности, как утопающий, но все же было достаточно времени прийти в себя, прежде чем я заметил, как надо мной стала нависать третья волна.

Сначала я простился с жизнью, но потом сообразил, что нужно попытаться удержать тело на ее гребне и быстро принял горизонтальное положение, повернувшись спиной к ее фронту так, как делал это давно, в Черном море.

Но там были просто волны-карлики по сравнению с теми, с которыми мне пришлось бороться здесь, в Тихом океане, с наветренной стороны рифа.

На этот раз волна быстро подхватила меня и понесла в своем падающем гребне с огромной скоростью на довольно большое расстояние — сначала вперед, а потом назад, когда она отхлынула обратно.

Я легко выбрался на поверхность и поплыл, не теряя времени, по направлению движения волн. “Где-то там, впереди, за рифами, должна быть лагуна”, — надеялся я.

Мне казалось, что следующая волна что-то долго не появляется, но потом я увидел ее. Это была уже не гора, а просто очень большая волна с крутым, падающим гребнем.

Я быстро принял горизонтальное положение в ее гребне, и она понесла меня далеко вперед, оставив почти на поверхности воды, так что мне было уже довольно легко отдышаться и приготовиться к следующей. Теперь я все время плыл по направлению движения волн — несколько раз они осторожно подхватывали меня на свои шумные гребни и продолжали нести вперед, все дальше и дальше от гигантских переростков с внешней стороны рифа.

Вдруг я почувствовал что-то твердое под ногами. Я мог стоять по грудь в воде. Вокруг себя я видел беспорядочное движение потоков воды, кусков пены и фосфоресцирующих брызг. Не успел я прийти в себя, как подошла еще одна крупная волна и пронесла меня еще какое-то расстояние.

Я стоял по пояс в воде. Но прежде чем я осознал, где я и что со мной, подошла новая волна и отнесла меня еще на несколько метров вперед. Теперь глубина воды оказалась чуть выше колен. У меня было достаточно времени сделать несколько неуверенных шагов, отдышаться и оглядеться.

Темное ночное небо. Безбрежный океан. На горизонте не видно ни одного огня.

Незаметно подкралась крупная волна, и я снова оказался на

плаву. Когда она отхлынула, я попытался встать на ноги, но на этот раз я не смог нащупать дно. Я понял, что меня вынесло в лагуну — риф остался позади.

Вокруг стало непривычно тихо, глухой рокот океана слышался где-то за моей спиной. Мне казалось, что я нахожусь на поверхности спокойной бухты.

Я снова огляделся. Кромешная тьма. Кругом — ничего. Но где-то в центре лагуны должен быть остров, — подумал я. — Ведь это знает каждый школьник из уроков географии.

Первое время я плыл, пытаюсь удержать шум прибоя за спиной, но через полчаса, а то и более, это стало трудно делать — шум прибоя, казалось, слышался то справа, то слева, то сразу со всех сторон. Тогда я решил плыть так, чтобы шум прибоя все время удалялся. Я менял свой курс много-много раз, двигаясь просто на "тишину" и, как я предполагал, в сторону того призрачного острова.

Наконец я достиг такого положения, когда шум прибоя был слышен всегда только с одной стороны — я развернулся к нему спиной и поплыл по прямой, не останавливаясь.

Каждое мое движение сопровождалось вспышками голубоватого пламени, и я возможно был виден со стороны как неугасаемый, пылающий костер. Я заметил еще, что мой собственный свет, похоже, становится все ярче и ярче и основательно мешает мне видеть водное пространство впереди и вокруг меня.

Уже больше часа я плыл в лагуне. Было как-то непривычно двигаться среди этой внезапной тишины, на поверхности, гладкой, как озеро. Всплески воды при каждом неосторожном движении казались мне слишком шумными, и, как фальшивые аккорды, искажали нежную мелодию тишины. Я наконец мог снова поднять маску на лоб, отодвинуть трубку в сторону и получше оглядеться.

Я снова вспомнил об акулах. В первую очередь я осмотрел все обнаженные места кожи. Я мог легко различить каждую каплю воды и даже тонкий волосной покров на руках и на ногах. Никакой боли я не чувствовал, но знал по опыту, что в воде даже глубокая рана иногда не вызывает никакого болезненного ощущения. Мне приходилось видеть, как под водой из раны выкатывались шарики крови: на глубине — они обычно черные, на поверхности — темнокрасные; затем они расплывались, превращаясь в мутные облачка — без малейшей боли.

Я заметил кровь на разбитых коленях и перевязал их платком. Это случилось вероятно на рифе, когда я много раз карабкался в воде на его острые коралловые уступы.

Я знал, что в лагуне может быть больше акул, чем с наветренной стороны рифа, а еще неизвестно, как долго придется мне плыть к острову. Кровь привлекает иногда тех акул, которые обычно не нападают на человека. Я где-то читал, что в лагунах акулы не трогают местных жителей и нападают чаще на незнакомых пришельцев — точно так, как это делают деревенские собаки.

Внезапно у меня мелькнула странная мысль-догадка: "А что, если акулы просто боятся меня? Я, наверное, представляю им непонятным светящимся чудовищем. Ведь многие глубоководные обитатели моря имеют собственное свечение — ясно, не от хорошей жизни!" Я снова надел маску, взял в рот загубник и взглянул вниз. Глубина в этом месте не превышала десяти-двенадцати метров, и все дно подо мной излучало массу света, как будто я летел в самолете очень низко над ночным городом. Это были, несомненно, живые коралловые рифы. Я так много читал о них, мечтал увидеть хоть "одним глазом", и вот они открылись передо мной во всей своей красе, неожиданно, среди ночи...

Шум прибоя слышался уже далеко, напоминая раскаты грома. Я плыл с большим трудом — кроме общей усталости я чувствовал, что мое дыхание стало учащаться: видимо, задержки дыхания на рифе дали себя знать. Я продолжал плыть вслепую, стараясь только удерживать шум прибоя за спиной.

Наконец я увидел группу огней чуть-чуть слева от себя. Они приветливо мигали и, казалось, были не очень далеко. Мое дыхание все ухудшалось — каждые пятнадцать минут я пытался неподвижно висеть в воде, но это уже не помогало. Мне просто не хватало воздуха. Я жадно ловил его ртом и стал хрипеть. Глубина в этом районе казалась не больше пяти метров.

Вдруг я заметил справа и впереди вершины пальм на фоне темного неба. Они были гораздо ближе, чем те огни, на которые я ориентировался, и я направился к ним, — в огнях я окончательно разочаровался. Яркое свечение моего тела просто ослепляло меня, я уже едва мог видеть поверхность воды на расстоянии протянутой руки! Я неожиданно стал пугаться темноты впереди себя, что со мной случалось очень редко.

Прошло уже несколько часов с тех пор, как я покинул риф. Я чувствовал себя очень скверно и полагался только на силу воли. Мне стало казаться, что придется вечно плыть куда-то в неизвестность, а пальмы на фоне неба — просто мираж, как и те огни, что видны слева.

Наконец, когда я уже стал терять сознание и явно задыхаться, я в последний раз проверил глубину и... нащупал ногой что-то твердое. Я стоял по грудь в воде, не доверяя своим ощущениям... Впереди меня, насколько я мог различить, темнела вода лагуны. Место было мелкое, и мне пришлось долго брести по грудь, плыть снова, опять брести по пояс в воде.

В эти минуты я боялся акул больше всего на свете: "Если акулы сожрут меня сейчас, — я вздрогнул от этой мысли, — будет просто обидно!"

Я вышел на коралловый песок у подножия очень высоких пальм. За мной тянулся ручей светящейся воды, а мое тело сверкало, как бальное платье какой-нибудь красавицы.

Только теперь я почувствовал себя в полной безопасности. Океан остался позади, а с ним и все мое прошлое...

Тихо шелестели листья где-то высоко над головой. Среди редких облаков были видны яркие звезды. Справа и слева вдоль берега, насколько хватало глаз, стояли ряды высоких пальмовых

деревьев — их вершины ясно выделялись на фоне ночного неба. Где-то там, по ту сторону лагуны, шумел рокот прибора.

— Все же Океан любит меня... — не мог не отметить я. Мою душу захлестнуло ответное чувство, мое "Я" внезапно расширилось и стало включать в себя огромное пространство. Я мог смотреть сверху на океан, на остров, я был среди облаков и даже ночное небо казалось совсем близким, стоит только протянуть руку — и коснешься. Я был каждым деревом, каждым цветком, я проносился ветром по верхушкам пальм, я был отражением звезд в зеркале лагуны. В меня вошла Одушевленная Тишина... Я боялся шелохнуться, чтобы не спугнуть ее...

Тишина незаметно ушла...

Я почувствовал неодолимую усталость и тут же заснул на песке под пальмами.

Спал я недолго. Меня разбудили укусы муравьев и москитов. Мое тело продолжало фосфоресцировать, особенно мокрая одежда, и стоило мне только поднести ладонь к любому мелкому объекту, который я хотел разглядеть, я мог видеть его достаточно хорошо в своем собственном свете. Свечение тела затухало очень медленно — было весьма удобно им пользоваться в ночной темноте. Я решил пойти вглубь острова. Я чувствовал сильный озноб, какой бывает при солнечных ожогах, и мне думалось, что в чаще леса будет теплее, чем на берегу лагуны.

Пальмовые деревья росли только на самом побережье, вскоре я вошел в банановые заросли и долго шел среди них. Потом стали встречаться незнакомые породы деревьев и кустарников, обвитые ползучими стеблями растений и свисающими лианами; попадалось много полусгнивших стволов, крупных ветвей и больших листьев.

Заросли сомкнулись в непроходимую чащу, под ногами захлупала вода, почва заколебалась под ногами — похоже, я забрел в болото. Я решил вернуться на берег лагуны.

Я находился в счастливо-невозмутимом состоянии. Мир стал для меня совершенно новым, загадочным и чудесным. Никакой ностальгии, которой я боялся, и в помине не было! Как будто я совсем ничего не потерял и не оставил в моей стране — а ведь я ее очень любил! Потом я всегда размышлял над этим чудом... Я сделал для себя потрясающее открытие! Все это произошло не постепенно, а сразу, и я прошел этот психологический барьер этой ночью. Я хорошо помню "себя" до момента, когда я услы-

шал внутренний Голос и поплыл на шум прибоя. Все произошло в то время, когда я жил там, в ином, загадочном мире. Когда на меня обрушились гигантские волны, мне было не до самоанализа, но каким-то внутренним чутьем я ощутил, что стал совсем другим человеком.

Ветер пронесся по вершинам деревьев, зашуршали банановые листья. Я вдохнул запах моря и водорослей. Я вышел на берег лагуны уже в другом месте и неожиданно наткнулся на недостроенную пирогу. Она была сделана из одного крупного ствола дерева, выдолбленного изнутри в нескольких местах, с очень толстыми перегородками. Одно из отделений было достаточно просторным, чтобы растянуться во весь рост. В пироге оказалось сухо — я набросал туда свежих банановых листьев и решил немного поспать. Мне стало теплее от продолжительной ходьбы, и моя одежда немного обсохла. Я “посветил руками” предварительно по дну и стенкам — нет ли муравьев и других “кусучих” насекомых, улегся в нее и мгновенно заснул.

Примерно через час я проснулся — слишком много открытой кожи оставалось незащищенной от надоедливых moskitov, а их укусы были очень болезненны. Я вылез из пироги и отправился наугад вдоль берега. Зачерпнув несколько раз морской воды, я “полил” фосфоресцирующий планктон на одежду и всем теле — ночь еще не прошла, а свет мне мог пригодиться. Свечение вспыхнуло с прежней силой, и я мог видеть и отгонять moskitov, не дожидаясь их укусов. Позже, — думал я, — когда свечение совсем угаснет, я могу пользоваться светом светлячков. Легкий морской бриз приятно освежал кожу. Было очень тихо. В неподвижной воде лагуны мерцали звезды. Песок был крупный и чистый, идти по нему было легко и приятно.

Я решил дожидаться утра, найти какое-нибудь укромное место и обсушиться на солнце. По дороге мне попадались кокосовые орехи — я первый раз в жизни держал их в руках и с любопытством осматривал. Я разбил несколько орехов между двух камней, но молока в них не оказалось. Я вспомнил из книг, что молоко бывает только в зеленых, но за ними нужно было лезть на вершину пальмы.

— Займусь этим завтра, — решил я.

Я положил кусочки белой мякоти ореха в ласты. Есть я не мог — вся полость рта была воспалена от соленой воды и от губника. Есть мне, собственно, совсем не хотелось; хотелось

только пить, но я был еще далек от состояния, когда умирают от жажды.

Я чувствовал себя Робинзоном Крузо и уже был влюблен в свой остров. На нем было все, о чем только можно мечтать: высокие горы, богатая тропическая растительность и вокруг — теплый океан до самого горизонта! Огонь я сумею добыть, — размышлял я. Я делал это не раз в лесах моей северной страны. Еды — я был уверен — найду сколько угодно в джунглях и под водой в лагуне, а одежда мне просто не нужна — живут же дикари всю жизнь без одежды!

Сначала я найду укромное место и построю себе хижину — на острове должен быть бамбук, это самый легкий строительный материал. На крышу пойдут банановые и пальмовые листья. Потом я начну исследовать остров, начиная с побережья — каждую миллю берега, каждую бухточку...

Я совсем размечтался... Я почувствовал себя обладателем сказочного тропического острова! Я шел по берегу лагуны и чувствовал себя счастливым первооткрывателем. Мне ужасно захотелось станцевать "сиртаки", и я принялся танцевать тут же, на песке под пальмами.

Вдруг я увидел группу туземцев... Они, видимо, только что подошли.

Туземцы остановились и замерли. Ближе всех стоял невысокий, темнокожий человек в белой рубашке и светлых брюках. Он испуганно вскрикнул и сделал длинный прыжок назад. Наступила продолжительная пауза...

В это мгновение я осознал, что нужно немедленно что-то сделать, чтобы убедить этих людей в моих мирных намерениях.

Я отбросил лапты и маску в сторону и поднял ладони с растопыренными пальцами — я где-то читал, что этот жест применяется среди каких-то племен, чтобы показать отсутствие оружия. Потом широким жестом я указал в сторону океана и сделал несколько плавательных движений руками.

Прошло две или три минуты молчаливого напряженного ожидания, прежде чем кто-то из туземцев стал медленно приближаться ко мне. Немного позже я узнал причину такого боязливого недоверия — все мое тело продолжало фосфоресцировать в темноте, и эти люди приняли меня вначале за танцующее привидение.

Напряжение быстро спало, и вокруг меня закружились дети — они всегда смелее взрослых.

Это была одна большая семья — отец и дети. Сначала они — все еще недоверчиво — притрагивались ко мне по очереди, потом заговорили все разом на каком-то непонятном языке, из которого я понял только одно слово “американ”.

Я стоял в кругу детей и глупо улыбался. Кто-то из них заметил на песке мои ласты, маску и трубку. Дети бросились к ним и стали с любопытством рассматривать. Девочка лет двенадцати спросила меня по-английски и по-испански, кто я и откуда. Я немного говорил по-английски, и скоро мы стали лучше понимать друг друга.

Посыпались бесчисленные вопросы. Почему-то они решили, что где-то недалеко в океане произошло кораблекрушение, а я один из спасшихся членов экипажа. Меня все время спрашивали: “А где остальные люди?”

Я пытался объяснить, что корабль цел и невредим, это я один прыгнул в море.

Они никак не могли этого понять. Последовал невинный, а с моей точки зрения — глубокий философский вопрос:

— А зачем?

Мне стало смешно, когда я увидел себя со стороны. Что я мог ответить? Действительно — зачем? Этот вопрос прозвучал для меня так, как если бы меня спросили — зачем я живу на свете?..

Мы шли около часа, а может и больше, пока дошли до их дома. Мы поднялись на высокое крыльцо и вошли внутрь. В доме не было электрического света и кто-то из взрослых зажег керосиновую лампу.

Пожилая женщина — хозяйка бунгало — подала мне какой-то местный горячий напиток, и только отхлебнув несколько глотков, я почувствовал, как сильно хочу пить. Когда я выпил все, что оказалось в чайнике, хозяйка, нисколько не удивившись, поставила на огонь целое ведро воды. Я продолжал пить стакан за стаканом, но от еды сразу отказался — полость рта была сильно воспалена.

Мне сказали, что я нахожусь в поселке “Генерал Луна” на острове Сиаргао. “Значит, в общем я не ошибся в своих расчетах, — думал я, — видимо, капитан изменил курс и отвернул от острова, поэтому и расстояние оказалось значительно больше, чем я ожидал”.

Время было далеко за полночь. Меня положили спать на кровати с противомоскитной сеткой — я так устал, что даже не сопротивлялся.

Заснул я мгновенно, только коснувшись подушки.

Я проснулся и никак не мог понять, где я нахожусь. Было совсем светло, лучи яркого солнечного света пробивались сквозь щели окон и полуоткрытую дверь.

Хозяйка помогла мне умыться из таза и поднесла стакан того же напитка.

— Почему меня так рано разбудили? — удивился я. Я начал ощущать, что в доме происходит какое-то непонятное суетливое движение. Хозяин дома вдруг предложил мне рубашку и полотняные брюки, которые мне были вовсе не нужны, но отказаться было просто неудобно, и я с благодарностью принял его подарок.

Каким-то внутренним чутьем я осознал, что нужно выйти на крыльцо этого бунгало. Внизу под пальмами я увидел большую толпу темнокожих людей — их было не менее двухсот, все они захопали в ладоши при моем появлении и стали что-то кричать по-испански. Потом... мои глаза остановились на том, отчего я не мог не вздрогнуть всем своим существом... "Господи, ну почему я так глуп и наивен? Ведь я же мог уйти в джунгли той же ночью!" Позади толпы я увидел зеленый джип и несколько людей явно в военной форме с автоматами за плечами. В толпе местных жителей образовался узкий коридор, и двое из вооруженных, офицер и солдат, направились ко мне.

Прежде чем сесть в джип, я оглядел окрестности и бросил последний, влюбленный взгляд на такие близкие, синие горы.

Прощай, мой таинственный остров!.. Я упустил свое неповторимое мгновение...

* * *

Судьба была ко мне благосклонна. Хотя я и был пленником на Филиппинах в течение полугода и даже просидел полтора месяца в тюрьме, но все это было лишь продолжением моих приключений — разве не мечтал я о чем-то подобном тогда, очень давно, когда видел перед собой неумолимый серый забор?

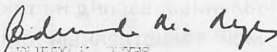
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
DEPARTMENT OF JUSTICE
COMMISSION ON IMMIGRATION AND DEPORTATION
MANILA

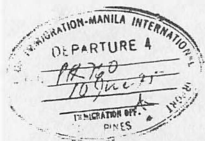
C E R T I F I C A T I O N

TO WHOM THIS MAY CONCERN:

This is to CERTIFY that Mr. SPANISLAV VASILVICH KURILOV, 38 years of age, and a Russian National, was turned over to this Commission by the military authorities, and who, after investigation, appears to have been found by local fishermen at the shores of General Luna, Siargao Island, Surigao on December 15, 1974, after he jumped overboard a Russian vessel, the Soviet Union, last December 13, 1974; that Mr. Kurilov is not in possession of any travel document or other paper to identify himself, but has declared that he was born in Vladicavcaz, Caucasus, on July 17, 1936; that Mr. Kurilov has manifested his desire to seek asylum in any Western country, preferably Canada where his sister is allegedly residing, and that he had already sent a letter to the Canadian Embassy in Manila requesting permission to settle in Canada; that this Commission will present no objection to his departure from the country for the said purpose.

Issued this 2nd day of June, 1975, at Manila, Philippines.


ABELARDO M. REYES
Commissioner



* * *

Давай убежим снова? У меня есть идея...

Куда? А ты не спрашивай...

Туда... за горизонт... в неведомое...

(Подготовила к печати Н. Воронель)

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

— Чем объяснить резкое сопротивление Сирии израильско-ливанскому соглашению?

— Сирия традиционно противится любому политическому соглашению с Израилем. За все годы она подписала с Израилем только одно соглашение — о размежевании сил, которое имело военный, а не политический характер. Кстати, именно это было причиной разногласий между Сирией и Египтом: Сирия упрекала Египет в том, что он ищет не только военных, но и политических соглашений. В этом — принципиальная позиция Сирии.

Сейчас Сирия, видимо, подзревает, что Израиль хочет использовать соглашение с Ливаном в политическом аспекте — для более широких целей изменения ближневосточной ситуации с помощью США. Сирия, возможно, связывает ливанскую ситуацию с другими американскими целями в регионе, включая ситуацию на Западном берегу и вообще ближневосточное урегулирование. У нее есть на это основания: американцы сами неоднократно говорили, что, решив ливанскую проблему, намерены идти дальше.

Между тем Сирия всегда испытывала страх перед различными инициативами, которые могут не принять во внимание ее интересы. В Ливане же у нее

Йоси Ольмерт

ЛИВАН, СИРИЯ, ИЗРАИЛЬ
(интервью для "22")

есть дополнительные причины для сопротивления.

Прежде всего, сирийское руководство, видимо, опасается, что соглашение даст Израилю военные преимущества и возникнет такая ситуация, когда израильская угроза Сирии с ливанской территории станет постоянным фактором. Израиль все время говорит о "сорока-сорока пяти километрах", а это — в северо-восточной части — весьма близко к долине Бика. Приближение израильских войск к Бика было ведь одной из причин израильско-сирийского столкновения в прошлом году. Возможно, если бы Израиль ограничился продвижением только в центре и на западе, столкновения не было бы. Продвижение на востоке сирийцы восприняли как угрозу их силам в Бика и даже самой Сирии.

Есть и вторая причина. Сирийцы сегодня считают, что их военно-стратегическое положение в Ливане улучшилось и они теперь в состоянии предотвратить получение Израилем каких-либо преимуществ. Это, пожалуй, даже главная причина. Подобное же соглашение в июле-августе 82 года сирийцы, возможно, приняли бы даже без особых возражений, несмотря на все, сказанное выше. Но сегодня у них ощущение, что ситуация изменилась в их пользу. Почему?

Во-первых, Сирия считает, что Израиль хотел вытеснить ее из Ливана, и ему это не удалось. Во-вторых, она считает, что время работает на нее, потому что она может держать войска в Ливане, а Израиль — нет: из-за войны на истощение, из-за внутреннего и международного давления и так далее. В-третьих, Сирия получила такую советскую поддержку, какой никогда не имела прежде. Сирийская интерпретация, в сущности, очень проста: летом 82 года Израиль не победил на суше; единственная его победа была в воздухе; сегодня, с помощью новых советских ракет, у Сирии есть ответ на эту угрозу; значит, положение склоняется в пользу Сирии, и нет никаких оснований соглашаться с договором, который, в конечном счете, дает преимущества Израилю. Сирия достаточно уверена в своих силах, чтобы нагнетать напряженность в Ливане, а если эта напряженность приведет к новой конфронтации, то у нее теперь достаточно сил, чтобы продержаться те два-три дня, которые потребуются, пока подоспеет советская помощь — политическая, а может быть — и другая. Не суть важно даже, какая это будет помощь — намного важнее, что Сирия может сегодня играть советской картой так, как будто она у нее в кармане. Я не припомню, чтобы Сирия говорила о советской

помощи так решительно даже полгода назад. Насколько обоснована эта уверенность, трудно сказать, но впечатление большей уверенности несомненно.

— Вы говорите о противоположности интересов Сирии и Израиля. Имеется ли у них какая-либо общность интересов — например, в отношении плана Рейгана — дающая основания думать о соглашении?

— Я уже говорил в свое время, сразу после опубликования плана Рейгана, — что Израилю не стоит начинать переговоры с Ливаном; не лучше ли сохранить существующее положение, которое устраивало и Сирию, и Израиль, и тем самым похоронить план Рейгана, которому обе страны противятся? Но Израиль этого не сделал. Он начал переговоры с Ливаном. И все время демонстрировал сирийцам, что не намерен считаться с их интересами в Ливане, что хочет достичь односторонних преимуществ. С точки зрения сирийцев не было оснований думать, что Израиль стремится к договоренности с ними.

Между тем раньше такая договоренность фактически существовала — с 76-го по 82-й год. Была молчаливая договоренность о “красной черте”. И Сирия действительно не вмешалась в израильские действия за этой чертой — ни во время “Операции Литани” в 76 году, ни во время бомбежек палестинских позиций в 81-м году, ни в первые дни “Операции Мир Галилее” в 82-м году. Она вмешалась только тогда, когда Израиль переступил “красную черту”. Теперь нужно заново убеждать сирийцев, что со стороны Израиля имеется добрая воля. Но это, возможно, уже поздно, потому что сегодня они считают себя достаточно сильными.

Я думаю, мы допустили ошибку летом 82 года, когда мы были в лучшем положении, когда не было еще никакого плана Рейгана и никто не мешал нам действовать в Ливане. Надо было тогда навязать Сирии такое соглашение, которое было бы, де-факто, соглашением о разделе Ливана на сферы влияния. Может быть, это привело бы и к новой динамике в израильско-сирийских отношениях вообще. Но мы этого не сделали и оставили Сирию с ощущением, что хотим силой изгнать ее из Ливана. Поэтому сегодня я не вижу никакой базы для сотрудничества. Прежде всего, именно потому, что они убеждены в нашем нежелании искать договоренности с ними. Поэтому они видят только военный вариант решения. И каждый раз дают понять, что если с ними не будут считаться, то они торпедируют любое соглашение военным путем. Вспомните тот день 23 июля 82-го года, когда в результате террористиче-

ских вылазок начались военные действия с Сирией! Асад тогда говорил так, что было видно: его прижали к стенке. Сегодня террористические вылазки совершаются каждый день, а Израиль на них не отвечает. Сегодня сирийцы угрожают открыть огонь, а нам американцы говорят: ни в коем случае не стреляйте. Инициатива сегодня у Сирии, а не у Израиля.

— *Выходит, американская стратегия, не учитывающая Сирию, была ошибочной?*

— Да, это была ошибка. Даже две ошибки. Первая — это американская ориентация на Саудовскую Аравию. Не знаю, нужно ли это даже доказывать. Саудовский режим может рухнуть в любой день, и тогда все убедятся в том, какой огромной была эта ошибка. Саудовская Аравия — очень слабая страна, фактически без армии, без достаточного населения, поистине нежизнеспособная страна. У нее много денег, что вызывает зависть и ненависть соседних стран. И она использует эти деньги не для того, чтобы эффективно влиять на внутриарабскую ситуацию, а лишь для того, чтобы откупиться от всех, чтобы купить спокойствие у других арабских стран. Это — не влияние, а скорее зависимость от всех. Но этого не понимают на Западе.

Вторая ошибка — думать, будто Сирия слабая страна, изолированная в арабском мире и потому зависимая. Из того, что у нее есть внутренние проблемы, не следует, что режим слаб. Асад не ведет себя, как слабые правители. Даже зная, что у него есть проблемы, он ведет себя, как руководитель великой региональной державы. И у него есть совершенно четкая линия в отношении арабо-израильского конфликта. Он считает, что Сирия ответственна за решение палестинской проблемы, и поэтому должна осуществлять контроль над ООП. Именно поэтому летом 82 года он не пришел на помощь террористам и выждал, пока они не будут вытеснены на его территорию, — благодаря этому он получил лучший контроль над ними. Той же общей линией объясняется и давление, которое он оказал на Хуссейна и Арафата во время их недавних переговоров.

— *Но разве это давление не было в интересах Израиля?*

— Проблема для Израиля в том, что Сирия — это крайне радикальная страна, которая не хочет примирения с нами. Иногда у нее возникает совпадение тактических интересов с Израилем, но никогда не может быть совпадения стратегического. То, что Сирия не хотела войны в 82 году, не говорит, будто она не плани-

рвала начать ее в 84-м или в 86-м. У Асада четко разграничены тактика и стратегия. В стратегии он так же радикален, как все сирийские руководители до него. В тактике он, возможно, более умерен. Есть граница, до которой можно надеяться на взаимопонимание с Сирией. Когда я сказал, что в 82-м году с ней можно было договориться, я не имел в виду мирное соглашение, но всего лишь тактическое соглашение, в очень ограниченном плане.

Но даже для такого соглашения очень важно четко определить, чего Израиль хочет добиться в регионе. И тут, повторяю, мы допустили большую стратегическую ошибку. Что, в сущности, произошло? К 82-му году сложилась очень выгодная для Израиля ситуация. Египет вышел из войны, Иордания слаба и не хочет войны, иракская армия, которая была такой угрозой четыре года назад, тоже фактически сошла со счетов из-за войны с Ираном. Осталась единственная большая и сильная арабская страна, имеющая мотивацию для войны, — Сирия. Что нужно было делать в такой ситуации? Либо разгромить ее до конца, либо вступить с ней в переговоры. Израиль не сделал ни того, ни другого. Он не нанес достаточно сильного, решающего удара, и не сделал попыток договориться. В Израиле были люди, которые решили, что, поскольку наша армия находится в 30 километрах от Дамаска, то сирийцы сами уйдут. А получилось наоборот: именно потому, что позиция Сирии радикальна, сирийцы заявили, что уйдут только в том случае, если у них не останется иного выхода, то есть в том случае, если Израиль окажет на них достаточное давление. Израиль такого давления не оказал, и тогда они обратились к русским.

— *И каково же сегодня положение Сирии в арабском мире?*

— У Сирии нет положительного влияния в арабском мире. Она заняла экстремистскую позицию, отличающуюся от позиции Египта или Иордании. Но у нее есть очень большое негативное влияние. У нее достаточно сил, чтобы торпедировать любое продвижение в палестинском вопросе. В этом вопросе Сирия стоит даже на более крайних позициях, чем сама ООП. По существу, Сирия не хочет возникновения независимого палестинского государства или государства, связанного с Иорданией. Она не согласна на появление еще одного государства на землях, которые она исторически считает своими (а это включает Ливан, Иорданию и Израиль) и притом — государства ей враждебного. Она заинтересована в таком государстве, которое будет находиться под ее юрисдик-

цией. И вряд ли она согласится, чтобы им правила ООП. К чему ей страна, где премьер будет просаудовским, министр обороны — проиракским, а министр иностранных дел — проиорданским? А для достижения этой цели у нее есть достаточно рычагов. У нее уже есть свой “тройанский конь” внутри ООП — “А-Саека”. И когда Арафат начал переговоры с Хуссейном, Асад заявил ему, что может в любую минуту создать “альтернативную ООП” с центром в Дамаске. Есть у Сирии и рычаги давления на Хуссейна. В Иордании есть палестинское население, которое при случае можно поднять против хашимитского режима. Ходят слухи, что в Аммане действует подпольная организация, финансируемая Сирией, пару лет назад некоторые ее филиалы были даже раскрыты. Когда Хуссейн затевает шаги, неприятные Сирии, она тотчас концентрирует войска на иорданской границе, давая понять, чем это для Хуссейна может кончиться.

По отношению к Израилю Сирия при Асаде изменила только тактику, не стратегию. Она заявила, что не принимает, но и не отвергает резолюции 242. В 75—76 годах она говорила Садату: хочешь вступить в переговоры с Иерусалимом? — пожалуйста, но только в рамках единой арабской делегации, с участием ООП. Она знала, что Израиль на это не согласится. Садат не послушал и прибыл в Иерусалим. Думаете ли вы, что Хуссейн или Арафат поступят так же? Полагаю, что нет. И это — доказательство сирийской силы сегодня.

— Не облегчает ли это задачи правительства?

— Я не знаю, чего хочет наше правительство. Я только могу сказать, что, на мой взгляд, у нашего правительства никогда не было установки на договоренность с Сирией, напротив — всегда господствовало мнение, что Сирия — эта единственная арабская страна, которая еще хочет воевать с Израилем и потому нужно от нее избавиться.

— Кое-кто говорит, что к миру с Израилем готовы лишь те арабские страны, которые достигли “государственного” уровня развития. Первой такой страной был Египет. Но Ливан, вопреки нашим заявлениям, не оказался второй, — ибо Ливан не государство. Может быть, вторая — это Сирия?

— Это верно, но вопрос в том, о чем вы собираетесь с ней говорить и что вы можете ей предложить. Я не думаю, что Голаны достаточны, чтобы они согласились говорить о мире.

— А раздел Ливана?

— Тоже недостаточно. Этого достаточно для того, чтобы прийти с ними к соглашению того же типа, какое существовало между 76-м и 82-м годами. Здесь очень важно подчеркнуть следующее: у сирийцев существует четкое разграничение: “Мир с Израилем — нет, но...” И это “но” открывает зазор возможной договоренности. Увы, он существовал до 82 года, но мы его не использовали. До 82 года у них и у нас была свобода действий в своих частях Ливана. Теперь это уничтожено, это нужно восстанавливать. Но зачем сирийцам предоставлять нам сегодня такую свободу действий. Нам нечего им за это предложить. Что мы можем им предложить? Отступление к реке Авали? Они вернутся на другой берег Авали. Существовала выгодная для Израился ситуация, и вот она уничтожена — это моя главная претензия к ливанской войне. Я не намерен обсуждать, нужна была эта война или нет, но ужесли начинать войну, то нужно подумать, чего хочешь достичь этой войной. Большая война должна преследовать большие цели. Ливан не существенен для Израиля — у нас никогда не было спора с Ливаном. Наш спор шел с палестинцами и сирийцами. И если мы не хотим говорить с ООП, — а я лично этого не хочу, — то следовало говорить с Сирией. Но именно этого не сделали. И сегодня они считают, что Израиль хотел вытеснить их из Ливана силой, а когда ему это не удалось, пытается достичь того же хитростью, без жертв, с помощью ливанского соглашения.

— По вашему, соглашение ничего не принесло Израилю. Но принесло ли оно хоть что-нибудь Ливану? Перспективу суверенитета, избавление от диктата террористов?

— Я убежден, что Ливан уже никогда не будет таким, как до 76 года. Нет такой силы в мире, которая могла бы заставить сирийцев уйти из Триполи или из долины Бика. Если только Израиль не согласится воевать ради этого. Говорят, что, мол, оккупация Ливана создает сирийцам большие экономические, финансовые и прочие трудности. Эти трудности были у них все шесть лет, что они находятся в Ливане, тем не менее они оттуда не ушли. Не уйдут и сейчас. У них нет причин уходить. Максимум, чего можно ждать от Асада, — это молчаливого согласия не продвигаться к Авали, если израильтяне решат уйти за нее, а разрешить, чтобы освободившееся место заняли силы ООН, да и то — в том составе, который его устроит. Если же израильтяне решат оставаться в Ливане, то это будет как раз то, чего хочет Асад. У него регулярная армия, в отличие от Израиля он не нуждается в резер-

вистах, его экономические проблемы не сложнее израильских, он может ждать. Время работает на него.

— *Если израильтяне останутся в Ливане, означает ли это раздел де-факто?*

— Я думаю, что даже нынешнее соглашение говорит, что в любом случае Израиль сохранит влияние на юге Ливана. Что такое Хадад, как не Израиль? Но того же (или большего) потребуют для себя и сирийцы. Де-факто Ливан не сможет стать суверенным государством, каким был до гражданской войны, ему придется примириться с фактическим разделом.

Другая проблема — насколько свободен будет Израиль в своей сфере влияния? Сейчас, когда сирийцы сильнее, они не хотят соглашаться с той свободой, которую Израиль имел до 82 года.

— *По-вашему, все нити сейчас сошлись на Сирии?*

— Именно. И в этом ее негативная сила. Ей нечего предложить в смысле конструктивного решения проблем. Но у нее есть возможность все торпедировать.

— *Израиль, говорите вы, тоже ничего не может ей предложить. А Соединенные Штаты?*

— Не уверен. Если США сильно захотят урегулирования в Ливане, они, возможно, пойдут на переговоры с Асадом, причем это будет за наш счет. Это реальная возможность, и Асад сохраняет пути к ней открытыми. Ему ведь нечего терять, он может только выиграть. Если Америке нечего будет ему предложить, у него остается советская поддержка, и он покажет всем арабам, что нечего идти за Америкой, можно остановить Америку, Америка не все может. Правда, с другой стороны, советская поддержка ему обеспечена лишь на том условии, что он остается в советской орбите. Советы не так наивны, чтобы предоставить ему свободу переговоров с американцами, а самим в то же время прикрывать его военным зонтиком. Тут у него, конечно, возникает проблема. Разумеется, у него тоже есть проблемы. Но я не думаю, что можно ожидать такого резкого изменения американо-сирийских отношений, как это произошло в Египте. Стиль Асада совершенно отличен от стиля Садата. Он может совершить поворот лишь после того, как получит все, что хочет. А поскольку он продолжает думать о войне, то военная помощь имеет для него решающее значение. И пока он имеет такую помощь от русских, американцам нечего ему предложить. Голаны? Кто в Израиле на это пойдет? Может быть, если бы Шарон реализовал свою угрозу свергнуть Хуссейна и отдал Иорданию Асаду, это устроило бы его, как

компенсация. Но я не вижу возможности сбросить Хуссейна, да и Шарона уже нет на сцене. Я даже не уверен, что у него было намерение договориться с Сирией — не только за счет Иордании, но даже за счет Ливана. Оказалось, что он стремился захватить весь Ливан и заставить его подписать соглашение с Израилем. Он не понимал, что Ливан не может подписать такое соглашение, пока там находятся сирийцы. Если у Шарона и был “гран-дизайн”, то он уже утонул в ливанском болоте. Все кончилось тем, что Израиль заключил соглашение не с Сирией, даже не с Ливаном, а с Соединенными Штатами — о Ливане, причем с позиций слабости. И пошел на это, чтобы не испортить отношений с США. Ошибка Шарона состояла в том, что он ничего не довел до конца: он не захватил весь Ливан и не пошел на соглашение с Сирией. Он должен был понять, что, отказываясь от захвата всего Ливана, он обрекает Израиль довольствоваться куда меньшим. До тех пор, пока хоть в части Ливана стоят сирийцы, не может быть такого ливанского правительства, которое могло бы подписать с Израилем тот договор, на который надеялся Шарон, начиная свои игры с фалангистами.

— *Какими вы видите отношения с Сирией в дальнем плане?*

— Я считаю, что Сирия останется нашим врагом. В обозримом будущем я не вижу никаких шансов на заключение с ней мирного соглашения.

— *Какова же в этих условиях лучшая стратегия для Израиля?*

— Не знаю. Это зависит от того, чего Израиль хочет добиться.

Й. Ольмерт — израильский политолог, сотрудник института Ближнего Востока при Тель-Авивском университете (институт Шилоах), специалист по Сирии и Ливану.

СОГЛАШЕНИЕ НЕ С ТЕМ ПАРТНЕРОМ

(беседа с журналистом из "22")

Не произошло ли нынешнее соглашение с Ливаном за счет потенциально возможного соглашения с Сирией? Ты сам знаешь, что это так, зачем спрашивать? Нужно немного знать историю здешних Балкан. Ты знаешь? До 1920 года здесь хозяйничала Турция. Нынешний Израиль, Сирия, Ливан, Иордания — все это была Турция. Затем пришли англичане и выгнали турок, турецкая империя распалась. И французы, которые здесь вообще не воевали, но были союзниками англичан, разделили с ними турецкое наследство. Англичане получили от Лиги Наций мандат на то, что называется Эрец-Исраэль, включая восточный берег Иордана. Французы получили мандат на Сирию. Англичане дали часть своего мандата саудовскому принцу Абдалле — за то, что он им помог во время войны против турок. Они обещали ему сделать его королем Дамаска. И он сидел в Аммане, ожидая, пока его впустят в Дамаск. Амман был тогда маленькой деревушкой. Но англичане предали его. Они заключили с французами соглашение Сайкса-Пико и сказали Абдалле, что не дадут ему Дамаск, но компенсируют его. Этой компенсацией была восточная часть Эрец-Исраэль. А его двоюродному брату Фейсалу дали Багдад. Это типичный способ ведения колониальной политики, так она ведется испокон века. У французов были те же расчеты, что у англичан, и они разделили Сирию на две части. Тем самым они создали искусственное приморское образование — Ливан. Они отрезали часть от Сирии, использовали местные противоречия между друзьями, христианами, мусульманами, и в конце концов создали что-то такое нежизнеспособное и искусственное. Это не было настоящее государство. Тут вообще тогда не было настоящих государств. Сирия не была государством и, конечно, Палестина не была государством.

Это и была основа. Когда англичане убрались отсюда, произошло то, что произошло, евреи захотели взять себе часть страны (не знаю, хотят ли они этого сегодня, но тогда они хотели), а

французы, уходя, дали независимость Сирии и Ливану. Все это было не так давно, всего лишь в 47-м году.

Таким образом, правда в том, что здесь есть — вернее, должны быть — всего два государственных образования: Сирия и Палестина. Но на самом деле Сирия это действительно государство, а Израиль не государство. Все еще не государство. Я очень сожалею. Если ты не плаваешь, как утка, не ходишь, как утка, и не крикаешь, как утка, ты — не утка. Сирия — это утка. Со всеми ее проблемами, режимами, переворотами она уже государство. Всегда, с первого дня. Саудовская Аравия тоже государство. Три вещи нужны, чтобы быть государством, мы об этом говорили в прошлый раз*. У саудовцев это есть, у сирийцев это есть, даже у иорданцев это есть. Хорошо или плохо, но есть. У нас нет ни плохого, ни хорошего, у нас просто ничего нет.

Таким образом, наш государственный партнер на севере — это Сирия. Если бы Израиль тоже был государством, что он должен был сделать? Он должен был обратиться к своему настоящему партнеру — Сирии и предложить ему: давай заключим соглашение. Чтобы выгодно было вам, и выгодно было нам. Точка.

Но Израиль этого не сделал. Потому что он не утка и не мыслит государственными категориями. Он просто начал решать свои еврейские проблемы. А какие у евреев проблемы? Погром. Отогнать Хмельницкого. Это они и сделали — отогнали Хмельницкого. Вся эта война была просто упражнением по самообороне еврейского ишува в Палестине. С еврейской точки зрения — вполне легитимное упражнение. В тебя бросают камни, бьют твоих детей? — ты идешь в гойский квартал и бьешь хулиганов. Сильно бьешь, надеясь, что у мухтара этого квартала достаточно ума и он наведет там порядок. Но там нет мухтара.

Это была типично галутская, еврейская акция. Она не имела никакого государственного значения. Можешь нарядить ее в десять государственных одежд — это все равно не государственная акция. Отогнать тех, кто бросает камни, от северных ворот гетто. И, может быть, навести какой-нибудь порядок, который продержится какое-то время. Это все. Дальше этого в Израиле не думают. Никогда дальше не думали. Все израильские войны были такими.

Ты думаешь, что у Шарона были какие-то государственные

* См. "22" № 17, 1981

замыслы? Может, у него и были замыслы, но он был членом общины. А если ты член общины, ты обязан делать то, что тебе велит община. Тот кто садится играть в покер, а потом заявляет, что он видите ли, хотел играть в реми, может кричать до утра — все равно его заставят играть в покер. Он думал, что будет буксиром, что он их потянет за собой — без того, что они поймут, куда он их тянет. Я ему с самого начала говорил, что у него нет никаких шансов. Что толку в хороших намерениях? У него были хорошие намерения уже тогда, когда он решил войти в политику. Но он не понимал, что с того момента, как он вошел в еврейскую общину, он потерял шансы что-либо изменить. Он вынужден был играть по их правилам. Невозможно быть государственным деятелем в общине, это не проходит.

Был ли у него “гран-дизайн”? Может быть. У него всегда был “гран-дизайн”. Есть еще люди, у которых есть “гран-дизайн”. Это ничего не дает. Они функционируют внутри общины, которая не является государством. У меня о них есть притча. В одной уважаемой, богатой, древней общине состарился раввин, и они искали нового — молодого, энергичного, чтобы он навел порядок. Объявили конкурс, провели выборы, нашли. Молодой, энергичный, все, что надо. Спрашивают: что ты хочешь, чтобы стать раввином? Он говорит: большая честь, но сначала я хочу сделать обход, посмотреть, что тут происходит. Пожалуйста. Он возвращается весь красный от гнева. Что такое? Да знаете ли вы, что в общине есть публичный дом?! Еврейский публичный дом?! Они говорят: понимаешь, нам неприятно об этом говорить, но это действительно так. Это как раз одна из причин, почему мы хотим нового раввина. Но это же ужасно, — говорит он. Я прежде всего хочу выгнать оттуда девок и снова сделать там микву. Конечно, именно для этого мы тебя и пригласили. Но есть проблема. Проблема чисто техническая. Какая проблема, я завтра же покончу с этим! Нет, есть проблема. У нас община старая, с традициями, у нас на все есть сложившаяся процедура. Ну, скажите, в чем процедура? Понимаешь, каждый, кто хочет закрыть публичный дом, обязан прежде месяц пробыть его клиентом. Потом можешь делать, что хочешь. Такова процедура. Парень вышел из себя: ни за что! Потом подумал: всего месяц. Вернулся и спросил: но это правда? потом я смогу делать, что я хочу? Они говорят: мы тебе подпишем, нет проблем. Подписали. Он пошел на месяц.

А неделю назад я слышал, что его выбрали в директорат публично-го дома.

Это в точности то, что случилось с Шароном, что случилось с Ювалем Нееманом, что случилось с Игаэлем Ядином. Если соглашаются играть по правилам, значит — соглашаются идти на месяц в публичный дом. Проходит немного времени, и решают, что стоит войти в его директорат. Ты думаешь, во мне говорит разочарование? Ха! Я-то в жизни к ним не прикоснулся! Это они разочарованы. Это Нееман разочарован. Он думал, это техническая проблема. Шарон думал, что он их обведет вокруг пальца. Не проходит. Еврейская община органически неспособна функционировать как государство. У нее могут быть все символы государства, и армия, и флаг, но государством она от этого не станет. Неспособна думать. Всего год с четвертью мы были государством, и тогда те же люди, тот же Бен-Гурион отдал приказ захватить Эйлат, отдал приказ захватить Западный берег, отдал приказ распустить Эцель, отдал приказ распустить Пальмах. Потому что он на время оказался главой государства. Но с той минуты в 49-м году, когда избрали первый кнесет и он отказался провозгласить постоянное государство, все закончилось. С 49-го года еврейская община не приняла ни одного государственного решения. Ни одного.

Я предупреждал Шарона, на третий день операции, предупреждал письменно: единственное, что ты можешь сделать — это повернуть на восток. Оставь Ливан, тебе нечего делать в Бейруте, иди на Дамаск, добейся соглашения с сирийцами. Он мне ответил: ты прав, но я член правительства. И я ему сказал: это твой конец.

Зачем нужно было идти на Дамаск? Заключить с сирийцами мир. Если понадобится — заставить. Не всегда приходится заставлять. Если бы сирийцы поняли, что это серьезно, они могли бы и раньше согласиться. Они могли бы много выиграть. Например, весь Ливан — от Триполи до Литани. С израильского согласия, конечно. Это серьезный государственный выигрыш.

Нет, сегодня уже поздно. Сирийцы умны, они ведут себя по-государственному. Они получают Ливан. Они получают его со временем и даром. И даже без американцев. А ведь мы могли потребовать с них плату, и этой платой было бы соглашение с Израилем. Теперь они получают его без соглашения. Потому что они уже сидят там, на месте. Думаешь, наша община из-за этого начнет с ними войну? Она просто ничего не решит. А ничего не решить — значит остаться в Ливане. Даже не поделить Ливан, а просто торчать там,

без всякого упорядочения ситуации. Конечно, это не решение, но наша община уже 30 лет не принимает никаких решений.

Ладно, евреи жили без государственных решений две тысячи лет. Есть даже такие глашатаи еврейской идеологии, которые считают, что это лучший способ остаться евреями. Зачем евреям государственные проблемы? Не нужно ничего решать. Если ты решаешь, ты ведь должен и выполнять.

Израиль мог бы выполнить, у него есть сила. У Сирии нет таких сил. Россия? Где там Россия? Русские — те же арабы. Они не воюют на передовой, они сидят сзади. Зачем им лезть вперед? Умирать за сирийцев? Ты знаешь, что понадобится русским, если израильская армия получит приказ покончить с Сирией? Один Краснознаменный ансамбль здесь не поможет (хотя есть такие евреи, которые думают, что этого достаточно). Русским понадобится, по меньшей мере, десять дивизий. Что они могут? Прислать сюда еще 500 летчиков? Которые никогда не воевали, не знают местности, не знают нас? И поверь мне, эта война не продлится пять лет. Они погибнут очень быстро. У русских нет никакого оперативного опыта, их генералы, даже самые высокие, не знают, что такое война. Они уже 40 лет не воевали.

Ладно, я допускаю, что если русские захотят уничтожить Израиль, они, конечно, могут это сделать. Но ты знаешь, как это называется? Третья мировая война. Израиль — не Афганистан. У Израила 14 дивизий. У Израила авиация больше и сильнее, чем у Франции. И русские прекрасно знают, что у Израила есть еще кое-что помимо этого. С Израилем нельзя шутить, Израиль — это серьезно. Зачем им это? Может, им выгоднее жить с нами в мире? Может, живые израильяне для них лучше, чем мертвые? Может, мы даже способны им в чем-то помочь?

Пока что мы не помогаем никому. Даже американцам. Поэтому-то они на нас так злы. С 67-го года американцы заплатили много денег, чтобы мы им помогли. И ничего от нас не получили. Все, что они получили, — это то, что они сами сумели взять. Они ожидали, что мы решим ближневосточную проблему. Они думали, что поскольку все карты в наших руках, мы наведем здесь порядок. Решим палестинскую проблему, заключим мир с Египтом, закроем сирийскую проблему. Все, чего они здесь хотели, — это порядка, чтобы они могли спокойно сосать из Саудии свою драгоценную нефть. А что им дали евреи? Одни хлопоты. Сегодня они видят, что мы ничего не доводим до конца. А им нужен здесь по-

рядок, и им все равно, в конечном счете, кто его наведет. Если они увидят, что порядок в Ливане может навести Сирия, и все, что она за это хочет — Голаны, они придут к Бегину и скажут: послушай, хабиби, ты не можешь закончить работу? — мы сами сделаем игру. Дай нам Голаны, и мы наведем порядок. Ты не можешь договориться с сирийцами? — мы договоримся.

Сирийцы хитрые дельцы. Они нам ничего не хотят давать, они хотят только брать. То же самое было с египтянами. Разве египтяне обязаны были получить весь Синай? Они не согласились бы на две трети, на три четверти? Но зачем им было уступать? Им не предъявили никакого встречного счета. Если бы им сказали: смотрите, друзья, мы очень хотим мира, но мы хотим четверть Синая, а без этого будет война — они бы произвели подсчет: может им лучше отдать четверть Синая и не воевать с нами? Мы ведь, что ни говори, крупнейшая военная сила от Дарданелл до Гибралтара. Неважно, как это получилось, но это так. Но к такой силе нужна и ответственность. У кого сила, должен взять на себя ответственность за то, что происходит в его районе. До 67-го года евреи говорили: ай, Израиль такая слабая, несчастная страна, все хотят ее уничтожить. Сегодня этот еврейский маневр уже не работает. Израиль воспринимают как богатыря, который не знает, что делать со своей силой. Он должен взять на себя ответственность — за палестинскую проблему, за сирийскую проблему.

У нас есть что дать Сирии. Во-первых спокойствие, во-вторых, Ливан. Разве этого не достаточно? Меня не беспокоит судьба Ливана. Пусть сирийцы дадут ему автономию. Пусть дадут, что хотят. Нам от сирийцев нужны две вещи: соглашение и спокойствие. Лично я обойдусь без гастролей их национального театра в Иерусалиме, без туризма, без торговли. Да, я знаю, они мечтают о “Великой Сирии”. Пусть мечтают. Они еще сто лет будут мечтать о землях от Хайфы до Бейт-Шеана. Они считают это южной частью Сирии. Пусть продолжают так считать, меня это не беспокоит.

Между прочим, “Великая Сирия” включает в себя и часть Иордании. Тут я даже готов им помочь. Если мы не сможем договориться с Хуссейном и Сирия захочет взять Иорданию, с нашего согласия, — пожалуйста. Если Иордания захочет с нами договориться, я, может, предпочту договориться с ней. В 71-м году американцы пришли к нам и сказали: нужно помочь Хуссейну, на него давит Сирия. Мы тогда ничего особенного не сделали, только объявили состояние готовности. Только состояние готовности —

и сирийцы поджали хвост. Было ли это ошибкой? Это было ошибкой в том смысле, что мы ограничились только демонстрацией силы. Надо было использовать такую возможность. Сказать Хуссейну: хочешь нашей помощи? — подпиши с нами соглашение. Не подпишешь — не поможем. Не подпишешь — мы договоримся с сирийцами: за нашу помощь в захвате Иордании они пойдут на соглашение с нами.

Конечно, в дальнем плане сирийцы лучшие партнеры, чем иорданцы. Хотя там меньшинство правит над большинством, но и те, и другие — сирийцы. В Иордании саудовское меньшинство правит над бедуинским и палестинским большинством. Это неустойчивый режим. Когда начнут лететь камни в Риаде, — а рано или поздно это случится, — иорданский режим тоже рухнет. Так что я предпочел бы соглашение с Сирией. А ее исторические претензии меня не беспокоят. Что, у нас нет исторических претензий? Мы не хотим "от Нила до Евфрата"? Как-нибудь договоримся. Договорились же Германия с Францией насчет Эльзаса-Лотарингии. Договоримся и мы.

Я не думаю, что это великие державы виноваты в том, что Израиль и Сирия не могут договориться. Не думаю. Я уверен, что обе великие державы были бы только рады, если бы здесь прояснилась ситуация. И уверен, что Россия сделала бы очень серьезные усилия, чтобы мы оставались нейтральными. Она бы даже согласилась уплатить Израилю, чтобы он не обслуживал американцев. Разве она не живет в мире с Югославией? С Румынией? Жила бы и с нами. Они уживались с нами до 67-го года. Разве они не позаботились, чтобы их вассалы прислали нам оружие в 47-м году? В этих условиях нужно знать, как себя вести. Наша ошибка не в том, что мы не говорим с русскими. Наша ошибка в том, что мы не государство. Если бы мы были государством, мы могли бы сделать свой расчет: когда стоит говорить с русскими и что стоит им сказать.

Что я теперь вижу впереди? Я думаю, что сирийцы из всех душ вымут и не уйдут из Ливана. Возможно, они заключат с Жмайелем какое-то соглашение и сделают вид, что уходят. Но они его заставят предварительно подписать кабалу, — что Ливан станет сирийским вассалом. А если он начнет изображать из себя героя, они вообще не уйдут. Что достанется нам? Ноль. Нам достанется проблема Хадада: как его продать без того, чтобы продать? Или наоборот. И перспектива, что американцы могут сказать,

что дело не закончено, сирийцы обещают уйти, если вы им отдадите Голаны. И тогда в нашей общине поднимется большой крик, начнется дискуссия, и наши евреи еще скажут: а что, может стоит об этом подумать?

Главная проблема: сколько терпения у этих глупых евреев Палестины? Пока они едят семь отбивных в неделю, они все стерпят. Но мне кажется, дело идет к тому, что отбивных будет всего три. И тогда их терпение кончится. Им придется решать, чего они хотят. Знаешь, на что есть надежда? На то, что уже возникло какое-то количество людей, которые уже не евреи, а мутанты. Людей, которым нужна независимость. Большинство евреев мира уже решило: они не хотят быть независимыми. Но небольшая часть так не сможет. Посмотри на евреев России. Часть из них захотела независимости, остальные хотят продолжать жизнь клеща на теле русской собаки. А если русская собака стала немножко больной, немножко злой, они ищут себе американскую собаку. В конце концов, евреи жили так две тысячи лет. Некоторые хотят продолжать в том же духе. Даже здесь. Они только не понимают, что здесь нет собаки. Они оказываются в положении клеща без собаки, но со всеми проблемами собаки...

Все зависит от того, сколько евреи еще смогут это глотать, а это зависит от того, сколько они едят. Если будут много есть — будут много терпеть. Если мало, то терпение кончится. Никакое изменение власти тут не поможет. Нет принципиальной разницы между Бегином и Пересом, между Бегином и Голдой — это те же самые евреи. Чтобы стать государством, нужно прежде всего выгнать эту еврейскую власть. И вернуться к тому, с чего начали — к Декларации Независимости. Все зависит от того, сколько ты ешь и сколько ты терпишь. А потом — от того, что ты сделаешь, чтобы изменить положение. Смотри — даже “великая” русская революция началась с очередей за хлебом. Если бы дело зависело только от идеологии, Ленин с его идеологией еще сто лет сидел бы в Швейцарии. Я думаю, что евреи не дойдут до очередей за хлебом. Речь идет только об отбивных — семь или три. Но, к сожалению, у нас не такое плохое положение, как надо было бы. Еврейская община в Палестине находится в прекрасном финансовом положении. А в таких условиях революции не происходят. Увы.

Б. Пелед — бывший командующий ВВС Израиля, генерал в отставке, сейчас — административный директор фирмы “Эльбит” (Хайфа)

Разговор о наших политических перспективах я хотел бы начать с цитаты Мохаммеда Хейкала, которого я считаю одним из самых проницательных наблюдателей ближневосточной политики. Некоторое время назад, когда Хейкал вышел из тюрьмы, куда его посадил Садат, одна египетская газета взяла у него интервью. Журналист рассчитывал, что Хейкал будет говорить о своих обидах, ошибках Садата и так далее. Вместо этого он заговорил о перспективах — о дальних перспективах арабского противостояния Израилю в следующем поколении. Журналист, который вел интервью, не выдержал и прервал Хейкала: "Какие перспективы, какие поколения?!" А теперь я процитирую ответ Хейкала: "Существует принципиальное различие между государственной политикой и политическими перспективами. В политике торжествует необходимость, а в перспективах — замысел и цель". Конец цитаты.

Если угодно, можно дать еще одно определение: замысел — это стратегия, а политика — это тактика. Что же касается стратегии и тактики, то лучшее, на мой взгляд, определение для них я нашел в английском учебнике шахматной игры для начинающих: "Тактика — это искусство сделать что-либо, ког-

Габриэль Бен-Дор

**ИЗРАИЛЬ НА БЛИЖНЕМ
ВОСТОКЕ**

да есть что делать; стратегия — это искусство решить, что делать, когда делать нечего”.

Цели и замыслы не всегда предполагают осуществимость. Политические сценарии грядущего не всегда осуществимы, в большинстве случаев не осуществимы, более того — в подавляющем большинстве случаев не осуществимы. Я не вижу в этом трагедии. Процесс стремления к цели не менее важен, чем ее достижение. Психологически, педагогически, воспитательно он даже более важен. Я напомним эссе Альбера Камю “Сизиф”. В греческой мифологии Сизиф — это трагическая фигура, человек, обреченный вечно вкатывать на гору камень, который тут же скатывается обратно. Камю же начинает свое эссе словами: “Нужно вообразить себе Сизифа счастливым”. Почему? Потому, говорит Камю, что достигает или не достигает он вершины, не так уж важно. Важнее, что он способен почувствовать себя счастливым от самого этого процесса толкания камня. Сизиф — это экзистенциальная аллегория современного человека (может быть, человека вообще), судьба которого — стремиться к цели, быть может — даже неосуществимой.

Какое отношение все это имеет к Израилю и его проблемам на Ближнем Востоке? Самое прямое. Мир — это тоже далекая цель, замысел, перспектива. Те, кто говорит, что мир недостижим, порой сами способствуют тому, что он действительно становится недостижимым. Год назад, перед началом ливанской войны, я говорил, что те, кто утверждает, будто война неизбежна, идут к тому, чтобы сделать ее неизбежной. Если мы заранее очень узко задаем параметры грядущего, то мы как бы навязываем их себе. Время ведь не обязательно “делает свое”. Время, вообще говоря, ничего не делает, оно только идет. Люди делают, не время.

Заранее выбирая параметры грядущего, мы невольно упрощаем, уплощаем ситуацию. Типичный тому пример — подход к сути арабо-израильского конфликта. Говорят: “При наличии у противника ракет размеры территории уже не так существенны”. Очевидная глупость. Говорят и обратное: “Именно при наличии ракет территория становится особенно существенной”. Такая же глупость. Какая территория, в каком контексте, в каких условиях? Можно ли спорить, что важнее: энергия или масса? Все это — такие же упрощенные клише, как утверждение: “Время работает на Израиль” или “Время работает на Сирию”.

Все зависит от конкретных обстоятельств, но также — весьма

существенно — от перспектив, замыслов, целей. В этом и состоит политическая диалектика: чтобы быть реальными, цели должны вписываться в некоторые параметры, но сами эти параметры определяются поставленными целями. Профессор Харкави, возможно — один из лучших знатоков арабо-израильского конфликта, так определил важнейшую цель Израиля: изменить в свою пользу изначальные параметры, лежащие в основе этого конфликта. Но что это за “изначальные параметры”?

Израильские “ястребы” считают, что если бы Израиль более твердо стоял на своем и дал понять, что ни в чем не уступит, арабы, в конце концов, смирились бы с существованием Израиля. Это — глупость, с которой время от времени выступает тот или иной министр обороны. Но не меньшая глупость — и утверждение наших “голубей”, которое сводится к другому клише: “Если бы Израиль показал готовность там-то и там-то уступить, это убедило бы арабов с ним помириться”.

Ошибка тех и других состоит в том, что они не понимают сути исходных параметров конфликта. Мир не вращается вокруг Израиля. И Ближний Восток не вращается вокруг Израиля. И да позволено будет мне сказать, даже арабо-израильский конфликт не концентрируется целиком на Израиле.

В качестве исследователя Ближнего Востока я хочу предложить следующий тезис. Отношение арабов к Израилю диктуется не тем, что они думают о нас, а тем, что они думают о себе, друг о друге, о великих державах и мире в целом. И более того: изменение арабского отношения к Израилю произойдет не только (и не столько) за счет изменений арабо-израильских отношений, но в результате развития неких внутренних отношений в самом арабском мире. Поэтому существуют объективные ограничения в вопросе о том, в какой мере Израиль может влиять на процесс. Центральность Израиля и его поведения, его стратегии в этом процессе весьма сомнительна.

Если исходить из этого тезиса, то рассуждения “ястребов” и “голубей” становятся нерелевантными. Равно как нерелевантными становятся рассуждения о том, должен Израиль уступать или проявлять твердость. Приобретают иной контекст конкретные вопросы израильской стратегии, в частности: должен ли Израиль продолжать видеть в себе “государство меньшинств” и потому искать союз с другими ближневосточными меньшинствами — курдами, маронитами и т. д. (как он до сих пор делал)

или же он должен стремиться к разговору с “большинством” — суннитами (даже за счет маронитов и курдов)? должен ли Израиль быть (или делать вид, что он является) “светочем наций”. или желательнее пойти по пути исторической нормализации? должен ли Израиль оставаться западным обществом на Ближнем Востоке, если он хочет жить в мире с соседями, которые не принимают западные ценности и нормы?

Я нарочно заостряю формулировку проблем, представляя варианты, как взаимоисключающие. В действительности я не считаю их таковыми. Но что верно — так это то, что наша возможная стратегия стоит перед рядом реальных противоречий. Они не имеют идеального, однозначного решения. Такова жизнь: в определенных границах она терпит противоречия, которые не имеют идеального, немедленного решения.

Большинство израильтян осознают эти противоречия, как реальные, но хотели бы избежать выбора или, в крайнем случае, найти какое-то однозначное “или-или”. Лично у меня наличие противоречий не вызывает возражений. Ибо я считаю (и хотел бы убедить других), что суть политики — как внутренней, так и международной — это **конфликт**. Естественное состояние демократической политики — не всеобщее согласие, а постоянный конфликт. Я никогда не понимал нашего национального вопля о необходимости “консензуса”, общенародного согласия. Никогда ничего хорошего в жизни не было достигнуто путем “консензуса”. Такой “консенсус” может осуществляться в каких-то небольших группах и коллективах, но в общем он влечет за собой паралич инициативы, паралич творчества. Я против “консензуса”. Я за конфликт — в пределах, допустимых для демократического государства того типа, в котором я хотел бы жить.

Все это относится и к арабо-израильскому конфликту. Я не верю, что в обозримом будущем этот конфликт сотрется или исчезнет. Наша цель — вовсе не в том, чтобы стереть этот конфликт. Она в том, чтобы направить его на нужные рельсы. Современная политология не говорит о “ликвидации конфликтов” — она говорит о “сдерживании”, “ограничении”, “управлении” конфликтом. Определения не столь важны, важен смысл: конфликт — естественен. Лауреат Нобелевской премии по экономике Кеннет Бординг сказал: “Мир — это идеальный конфликт”. Мир — это не отсутствие конфликта, это оптимальный путь управления конфликтом: без кровопролития, без войны.

Я думаю, что именно о таком мире нужно говорить, когда речь идет о взаимоотношениях между Израилем и арабами (как и между самими арабами; как и внутри израильского общества). В Израиле много говорят о мире "положительном" и "отрицательном". Положительный мир — это взаимная любовь, связи, уважение, туристский обмен, визиты симфонических оркестров и все такое прочее. Если этого нет, мир называют отрицательным и соответственно относятся к нему. Сетуют, что египтяне нас "не любят", что между нами не развиваются торговые и туристские связи и так далее.

В действительности, "отрицательный" мир — это такой мир, в котором стороны признают взаимную силу и взаимную невыгодность военного конфликта. Это то, что египетский министр Бутрус Рали определил как "холодный мир" (в параллель "холодной войне"). Это не мир между народами, это мир только между правительствами.

Меня устраивает такой "холодный" мир. Все, чего я хочу от арабов, — чтобы они прекратили с нами воевать. Я не в особом энтузиазме от торговли с ними. Я не считаю, что египетский симфонический оркестр доставит мне большее удовольствие, чем израильский. Я не думаю, что Исмаил Ашшахаи — лучший теннисист, чем Шломо Гликштейн. И вообще не в этом дело. Единственное, чего я хочу от мира, — чтобы израильтяне не умирали в песках Синая или в горах Шуф. Чтобы не нужно было снова штурмовать Горькие озера или Бейрут. А все наши стенания насчет отсутствия "нормализации", и низкого ранга дипломатических отношений, и нежелания с нами торговать, и препятствий для туристов, кажутся мне нерелевантными. Я не хочу от арабов любви, я даже не думаю, что этого можно ожидать от политиков: политика — искусство возможного. Мир — да, любовь — нет. Пусть не воюют со мной, к этому я, в конце концов, могу их принудить; но я не могу их принудить любить меня, идти на культурный обмен; я даже не знаю, хочу ли я этого, могу ли я; и уж в любом случае я могу обойтись без этого, могу жить с напряженностью, с конфликтами, со всем тем, что несет с собой "отрицательный", "холодный" мир.

В Израиле возникла целая "мифология мира". А когда мир действительно приходит, он оказывается не соответствующим этим мифологическим представлениям — и начинаются стенания. Но что такое, в сущности, мир? Мир — это всего три вещи. Первая,

и самая важная, — что люди не погибают на поле боя. С туризмом или без туризма, с оркестрами или без оркестров. Вторая, — что государство может сузить объем своих военных усилий. И третья, — что благодаря этому оно может сосредоточиться на собственных делах и проблемах. На тех конфликтах, которые существуют внутри него. У нас есть такие проблемы, и главная из них — довести до конца сионистскую революцию, привлечь в страну евреев, создать образцовое общество — демократическое, прогрессивное, постиндустриальное. Именно для этого нам нужен мир. С туризмом или без туризма, с торговлей или без торговли, с нормализацией или без нормализации. В этом плане я придерживаюсь того же мнения, что и Бутрус Рали: “холодный” мир — это прекрасно. До тех пор, пока это мир.

Каковы же перспективы такого мира на Ближнем Востоке? Тут необходимо взглянуть, на каком этапе политического развития находится этот регион. По-моему (и за этим “по-моему” стоит книга в 400 страниц, которую я только что завершил), самый важный процесс, который происходит здесь в нынешнем поколении — это процесс становления территориальных государств, процесс создания и укрепления таких государств — в противовес центробежным (этническим, религиозным, племенным и прочим) силам, которые пытаются их разрушить.

Страна, которая больше других преуспела в этом в арабском мире и на языке политологии является наиболее “государственной”, — это Египет. Само по себе наличие границ, территории и тому подобного еще не означает, что та или иная страна — уже государство. Кто в это не верит, должен приглядеться к Ливану. Это страна без государства. Египет — не только самая большая и самая сильная арабская страна, но и самая старая в смысле независимого существования, с самым развитым национальным (государственным) самосознанием, самой сформированной государственной элитой. И не случайно именно Египет первым заключил с нами мир. Многие годы в Израиле говорили: Иордания будет второй страной, которая заключит с нами мир. Ливан будет второй страной — лишь бы только нашлась первая. И сейчас эта первая страна есть. Где же вторая?

Второй нет. И нет ее потому, что все остальные арабские страны пока что — не государства в полном смысле этого слова. Если бы Ливан был государством, способным управлять в своих границах — собирать налоги, строить пути сообщения и так далее, — то

он бы, возможно, присоединился к мирному процессу. И если он этого не делает, то именно потому, что не может. И тот, кто хочет ему "навязать мир", не понимает, что в этом нет никакого смысла. У написанных слов, конечно, есть некая ценность, но если мы даже заставим кого-то в Ливане что-то подписать, они все равно не смогут подписанное выполнить.

Я не знаю, когда на Ближнем Востоке появятся следующие государства. Я не знаю, где это будет (хотя я могу предположить, что, скорее всего, — в Сирии; возможно также — в Ираке и в Иордании). Но я знаю, что это исторический процесс, который уже начался. И когда такие государства возникнут, вопрос о мире с Израилем станет для них столь же актуальным, каким он в свое время стал для Египта. И тогда возникнет вопрос о цене, которую Израиль должен будет заплатить — в том же смысле, в каком он заплатил за мир с Египтом. Но нужно понимать, что исторический процесс — штука медленная, поэтапная, требующая большого терпения. Конечно, его можно немного поощрить, подтолкнуть, но весьма немного — в истории нельзя "срезать путь". Каждое общество, каждое государство должно само себя создать — в соответствии со своими целями. И Израиль с его четырьмя миллионами не может подтолкнуть историю Ближнего Востока только лишь потому, что он хочет поскорей заключить "положительный" мир со своими соседями.

Более того, в каком-то смысле Израиль — тоже одно из этих ближневосточных государств, которые еще должны до конца построить себя. В Израиле "государственность" тоже пока еще находится в осаде. Она тоже подвергается действию центробежных сил (этнических, религиозных и прочих), которые говорят о "ценностях, стоящих выше государства" и отвергают самый смысл "государственности". И если мы хотим подтолкнуть колесо истории в сторону образования жизнеспособных государств, которые смогут заключить с нами мир, нам следует навести порядок в собственном доме. И показать, как **мы** управляемся с центробежными силами, цели которых не совместимы с соображениями государственности, толкающими Израиль к уступкам во имя мира. Это не просто. Не так просто показать нашим соседям, что мы являемся разумным, уравновешенным и зрелым государством, которое не колеблется, если нужно применить силу, но которое сознает также всю ограниченность силового подхода.

Сегодня нам еще нечем гордиться. Смешно изображать себя

западной страной, несущей в окружающий "культурный вакуум" такие "ценности", как "современность", "технология", "прогресс". Никто на Ближнем Востоке не спешит обниматься с нами и принимать наши "подарки". И по-моему справедливо. Современность не покупают в лавке. Египтяне и сирийцы не собираются покупать прогресс в израильском супермаркете. И вместо того, чтобы предлагать им, точно дикарям, свои побрякушки, нам следовало бы лучше сосредоточиться на собственной проблематике. Если бы мы действительно сконцентрировались на завершении сионистской революции, это больше всего другого убедило бы арабов, что мы искренне стремимся к миру, а не к территориальной экспансии, что мы заинтересованы в добрососедском сосуществовании, а не в культурном или экономическом империализме. Это более всего приблизило бы мир.

Г. Бен-Дор – профессор Хайфского университета, научный сотрудник института Шилоах, специалист по Ближнему Востоку.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Многоуважаемый редактор,

В 23 номере Вашего журнала опубликована статья Зеева Бар-Селлы "Толкования на...", посвященная стихам Иосифа Бродского. В этой статье есть тонкие и верные замечания, есть и спорные, что в литературоведении естественно. Однако стихотворение "Коньяк в графине цвета янтаря", на мой взгляд, истолковано неверно. Я знаком с реальным контекстом этого стихотворения и могу заверить, что Зеев Бар-Селла ошибается, усматривая в нем диалог с литовским поэтом-националистом. В толковании стихотворения есть и фактические ошибки. Например, под выражением "апостол рачьего стиха" имеется в виду не Эдуардас Межелайтис (который ни Бродского, ни его собеседника или собеседников никогда не занимал), а российский поэт, напечатавший эссе о палиндроме (перевертне) в журнале "Наука и жизнь". Имя его я запомнил, но желающие могут его легко установить, просмотрев комплекты "Науки и жизни" за 1966–7 годы.

*Искренне Ваш
Томас Венцлова*

ГОД СПУСТЯ...

То, что началось 6 июня 82 года как операция "Мир Галилее", превратилось в течение года в Ливанскую войну. Это была первая война, в которой Израиль сознательно сыграл активную роль на региональной сцене. Апологеты изоляционизма и концепции "оборонительных войн" в самом примитивном смысле этого слова естественно считают, что эту роль не следовало играть вообще и следовало лучше заняться внутренними, сионистскими делами. Но и многие сторонники активного участия Израиля в региональной политике полагают, что роль сыграна далеко не блестяще, если не провалена вообще.

Выше мы привели три разных оценки места Израиля на Ближнем Востоке вообще и Ливанской войны в частности (Й. Ольмерт, Б. Пелед, Г. Бен-Дор.) Чтобы не утомлять читателя еще одним анализом военно-политической ситуации, пойдём лучше по другому пути и представим ему на суд два наиболее вероятных сценария в случае, если: 1) Израиль вообще не начал бы войну и 2) война закончилась бы полной и окончательной победой Израиля над ООП и Сирией.

Сценарий номер один: ООП продолжает укрепляться в Ливане и параллельно этому растёт её международный престиж. Минигосударство ООП в Ливане, вклинившись между Израилем и Сирией, всё больше мешает соблюдению "джентльменского соглашения", существовавшего между ними. В конце концов, укрепившись окончательно, Арафат выходит из-под опеки Дамаска и, улучив момент, драматически возвещает, что он признаёт право Израиля на существование в обмен за палестинское государство. Под аплодисменты мировой "общественности" Вашингтон обрушивает на Израиль всю силу своего давления, чтобы вынудить его уйти с Западного берега (включая Иерусалим) и из Газы. Израиль, связанный Кемп—Девидом и не превратившийся в региональную силу, оказывается беспомощным перед американским и мировым давлением.

Сценарий номер два: ООП уничтожена, её лидеры убиты, израильская армия освобождает весь Ливан от сирийцев и палестин-

цев, продолжает триумфальное шествие на Дамаск, и Сирия терпит унижительное поражение, которое ослабляет ее не только в Ливане, но и во всем арабском мире. Первым подымает голову "маленький король". Освободившись от страха перед Сирией и конкуренции со стороны Арафата, он великодушно принимает мандат на переговоры с Израилем от разбитых наголову, деморализованных остатков палестинского сопротивления, отправляется в Вашингтон и с молчаливого одобрения Рида помогает Рейгану осуществить его план и создать на Ближнем Востоке "Пакс Американа". Вашингтон обрушивает на Израиль всю силу своего давления... смотри выше. В довершение ко всему "освобожденный" Ливан под властью популярного и сильного лидера Башира Жмайеля сталкивает лбами Сирию и Израиль, ослабляет обоих, создает независимое государство под эгидой США и распространяет свой суверенитет на юг Ливана, ликвидируя израильское влияние там.

За доказательствами вероятности такого сценария далеко ходить не нужно. План Рейгана возник именно потому, что США были убеждены, что ООП действительно уничтожена, Сирия действительно ослаблена, Ливан действительно может быть суверенным, а Иордания — освободилась от страха и может вступить в переговоры.

Вашингтон попался в типичную ближневосточную ловушку — и растерялся. Между тем диалектика ближневосточной политики такова, что иногда разгром главного врага может завести в политический тупик, тогда как его неожиданное укрепление может из такого тупика вывести. Хрупкая стабильность — или ее видимость — в этом районе держится на подобных двусмысленностях.

Подводить итоги Ливанской войны еще рано. Результаты региональной войны нужно оценивать с некоторого расстояния. Они оцениваются не важностью того или иного формального соглашения, а той цепной реакцией событий, которую она вызывает или может вызвать в будущем.

Год спустя видно, что Ливанская война перетасовала многие карты на Ближнем Востоке. Она обнажила полную беспомощность Иордании, истинную слабость Саудовской Аравии, почти вывела со сцены Египет и взорвала надутый шар ООП. Она выдвинула Израиль и Сирию как две ведущие региональные силы. Израиль приобрел большую свободу маневрирования и большую свободу от американского давления, чем имел раньше. Он нахо-

дится в Ливане в таком положении, что может требовать от США политической платы за сотрудничество с их интересами там — в частности, он может предотвратить сдвиг палестинской проблемы в нежелательное для него русло или переход инициативы в руки ООП, Иордании, Саудовской Аравии или США. Палестинская проблема вообще в значительной степени вытеснена ливанской; а в результате уничтожения минигосударства террористов в Ливане расчистилась площадка для геополитической конфронтации — или соглашения — между Израилем и Сирией. Сирия приобрела большее влияние и получила фактически право вето на любое ближневосточное урегулирование.

Далее, Ливанская война привела к тому, что неизбежно должно было произойти в данной геополитической ситуации — фактическому разделу Ливана между Сирией и Израилем. В дальнем плане этот раздел может стать интересным прецедентом на будущее — учитывая претензии Израиля на Западный берег Иордании и претензии Сирии на Восточный берег. В случае дестабилизации иорданского режима по обе стороны Иордана может повториться сегодняшняя ливанская ситуация.

Хотя Ливанская война привела к большей вовлеченности великих держав в ближневосточный конфликт, она одновременно поставила перед каждой из них четкие ограничения. Обе великие державы оказались зависимыми от своих клиентов в плане военного и политического престижа. И точно так же, как Израиль требует (и получает) от США политическую плату за сотрудничество с американскими интересами в Ливане, Сирия поступает в отношении СССР. Точно так же, как Израиль фактически ограничил советское проникновение на Ближний Восток, Сирия ограничила американское, и точно в такой же степени, как Израиль противится урегулированию при участии СССР, Сирия полна решимости сорвать американскую инициативу. Тем самым, Сирия и Израиль получили, как это ни парадоксально звучит, возможность сыграть — в дальнем плане — важную роль в истории Ближнего Востока. Вероятность успеха навязанных со стороны, не родившихся в рамках самого региона решений сведена до минимума.

Это видно на примере Ливана. Его судьба в действительности зависит сейчас именно от отношений между Израилем и Сирией. Если бы эти страны могли договориться, было бы возможным восстановление стабильного независимого ливанского государства. Но поскольку они находятся в конфронтации, Ливан оказывает-

ся в положении Польши между Россией и Германией накануне Второй мировой войны — и “раздирается” между сильными соседями.

Точно так же ключ к решению палестинской проблемы тоже находится сегодня в руках Израиля и Сирии.

Что касается влияния Ливанской войны на Израиль, то она, укрепив его положение на Ближнем Востоке, а возможно — в дальнем плане — даже во всем мире, привела к неожиданным результатам внутри самого израильского общества. Она резко усилила поляризацию между различными политическими лагерями и обострила борьбу между ними до невиданного в течение многих лет накала. Она обнажила типичные для демократического общества трудности ведения длительной войны: дискуссии, критика, демонстрации, открытые обсуждения итогов войны — и поставила кардинальный для любого демократического общества вопрос: как совместить требования безопасности и обороны со свободой слова и общественной критики? Она обнаружила также любопытные отклонения в израильской демократической машине: оказалось, что сложный и зачастую медленный процесс принятия политических решений в рамках демократической процедуры не поспевает за оперативной быстротой решений военных, приводящих к непредсказуемым политическим последствиям. Выяснилось, что в тот момент, когда премьер Бегин, человек несомненно честный и прямой, искренне говорил с трибуны парламента, что операция “Мир Галилее” имеет ограниченный характер и израильская армия не перейдет 45-километровый рубеж, армия уже переходила за 80-й километр; и в тот момент, когда Бегин официально заявил, что армия не войдет в Бейрут, она уже находилась возле дворца президента Ливана в бейрутском пригороде. В течение всей войны парламентская машина не могла поспеть за военной.

И наконец, год спустя после начала Ливанской войны, абсолютно ясно, что она еще далека от завершения... Цели ее расширились (порой даже против воли участников), бремя взятых обязательств возросло, и результаты, как уже было сказано, все еще рано подытоживать.

Н. Гутина — писательница, переводчица и политическая журналистка, автор книги “Двойное дно” и многочисленных статей в западной русскоязычной печати. В Израиле с 1971 г., живет в Тель-Авиве.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Илья Земцов

ЮРИЙ АНДРОПОВ – ПУТЬ К ВЛАСТИ

Не существует знания СССР, есть лишь различные степени его незнания.

Предлагаемая читателю история борьбы за власть в Кремле, запутанная, как сюжет уголовного романа, основана на анализе информации, нередко противоречивой, поступавшей в разное время из Москвы: советских публикаций, сообщений западных газет, неподтвержденных слухов и домыслов, распространяемых КГБ, которые, впрочем, часто оказывались важнее реальных фактов, стоящих за ними.

Либерал по-советски — это тот, кто говорит о своем недовольстве системой, а на самом деле выражает недовольство своим местом в системе.

Если перелистать все, что пишут об Андропове толкователи его личности (число которых за последние месяцы стало огромным), то перед нами предстанут десятки различных существ — с общими внешними чертами: седовласый, слегка сутулый мужчина преклонного возраста, в очках, неизменно изысканно одетый, — и с различными внутренними мирами: лицемерный, коварный, безжалостный и циничный политик; блестящий мастер борьбы за власть и тонкий знаток партийной интриги; склонный к реформам прагматик, не несущий ответственности за уродство системы, породившей его; сильный, рассудительный человек, знающий, чего он хочет; обаятельный собеседник, свободно владеющий английским и немецким, поклонник (и тайный Иерусалим“)

покровитель!) абстрактного искусства, верный почитатель цыганских романсов, французских вин и шотландского виски.

Каков же все-таки подлинный Андропов?

Коммунистический деятель новой формации, серьезный, энергичный, твердый интеллектуал, умело разбирающийся в современной политике?

Или же Андропов — типичный партаппаратчик в необычной для кремлевского лидера упаковке интеллигента, черствый и надменный карьерист, равнодушный ко всему, что не имеет отношения к его интересам?

По-видимому — и то, и другое.

Именно многомерность Андропова, богатство его личности, а может быть — разнообразие его социальных масок позволили ему выиграть на политических подмостках Кремля роль лидера, вакантную после смерти Брежнева.

Андропов — с одной стороны продукт советской системы, с другой — один из творцов ее современного облика. Так что оценка его личности должна проводиться не по аналогии с лидерами Запада, а в контексте коммунистической действительности. В ней — и через нее — можно найти понимание его противоречивого характера и незаурядной натуры. Он несомненно умен, образован, хорошо (по советским понятиям, конечно) воспитан, и в этом смысле не является исключением среди московских партийных работников*. Он способен произносить пространные

* Во втором эшелоне власти в Кремле — среди многочисленных советников и помощников Генерального секретаря, заместителей и заведующих отделами ЦК КПСС, главных редакторов партийных газет и журналов, — таких, как он, — большинство: зрудированных, с солидной академической подготовкой, со знанием языков, основательно разбирающихся в современных политических проблемах и неоднократно бывавших на Западе. Они — не профессиональные партийные работники, а ученые, — главным образом, историки и философы, пришедшие в ЦК КПСС из Институты Академии наук, или партаппаратчики новой формации, проведшие ряд лет на дипломатической работе или в университетах, где обзавелись научными степенями и званиями.

Сталин эксплуатировал ум и знания ученых, щедро одаривал их премиями и дачами (Митин, Юдин), но к активной деятельности в аппарате ЦК КПСС не допускал. Хрущев хоть и открыл перед учеными мир большого политического бизнеса в ЦК (Румянцев, Константинов, Францев), но относился к ним с недоверием. Брежнев был щедрее — членами ЦК стали его советники, профессора и академики Егоров, Афанасьев, Арбатов, Иноземцев. Однако Брежнев полагался полностью только на "социально близких". Их, бесталанных, без глубоких систематических знаний, но искусственных в партийных интригах и лично преданных ему, он ввел в Секретариат и Политбюро ЦК КПСС, завещая им свое наследство.

Только с избранием Андропова генсеком у "второго эшелона" появи-

речи, умеет играть словами, находить нужные, политически яркие образы и сравнения, обладает опытом лести в общении с нужными людьми, умением разгадать поведение противника, плести хитроумные сети интриг — словом, искушен в тонкостях советской партийной работы.

В Андропове заложены качества, присущие в той или иной степени любому советскому человеку: конформизм, двоемыслие. Он обладает истинно советским стереотипом сознания: материалистической ограниченностью мышления, детерминизмом восприятия, вне которых теряет способность понимать действительность; он наделен коллективистским мироощущением, проявляемом в боязни выпасть из “толпы”, оказаться вне “общего потока”. Андропов старается расположить людей в свою пользу, внушить к себе уважение и доверие. Но там, где необходимо, он проявляет твердость и жестокость, решительность. Умеет заставить бояться себя, не вызывая страха, не внушая ненависти. Не считается с обещаниями, как только оказывается, что причины и мотивы, побудившие их дать, исчезли или устранены.

Не будь Андропов целиком продуктом советской психологии, могло бы создаться впечатление, что он воспитан на макиавеллианской морали: “Государь не должен бояться осуждения за те поступки, без которых невозможно сохранение за собой верховной власти... Государь не должен быть великодушно щедрым... Государь... не должен бояться прослыть жестоким” . Однако в действительности нравственные принципы и политические ценности Андропова вполне укладываются в рамки его эпохи и жизненного опыта.

Андропов родился в состоятельной и благополучной семье железнодорожного служащего, далекого от неотвратимости надвигающихся революционных перемен, которые вошли в его жизнь в октябре 1917 года.

Новый отсчет времени для Юрия Андропова начался с физического труда, особенно тяжелого с непривычки. Он разгружал вагоны, таскал уголь, чистил снег на улицах. Но Андропов не хотел быть “бывшим” (к категории “бывших” революция причисляла не только богатые сословия дворян и буржуа, но всех,

лась возможность выдвинуться на верхушку партийной иерархии. Выдвинутся ли они? Решение этого вопроса зависит от того, как будет складываться социальная основа власти Андропова. Во всяком случае, “академики” из ЦК, более утонченные и интеллектуальные, чем полуграмотные соратники Брежнева, но не менее развращенные режимом, — к его услугам.

кто был до революции более или менее состоятельным — в том числе и родителей Андропова) и, едва окончив школу, оставил родительский дом. Он был рабочим, матросом, пока наконец не решил вступить в комсомол. В этот момент в судьбе Андропова происходит важная перемена — его назначают освобожденным секретарем комсомольской организации техникума водного транспорта. Перед ним открывается возможность получить образование. Закончив техникум, он успешно делает карьеру. В 1937 году он — комсорг ЦК ВЛКСМ судоверфи в городе Рыбинске. Это уже номенклатура и, попав в нее, он, инициативный, динамичный, точно улавливающий конъюнктуру, быстро продвигается по ступенькам партийной иерархии. В 1938 году, на гребнях последних волн “большого террора”, его “выплескивает” в первые секретари обкома комсомола в Ярославле. Здесь он работает под началом Патоличева — первого секретаря обкома, впоследствии министра внешней торговли. Где-то между 1939—1940-м годами происходит встреча Андропова с Куусиненом, предопределившая его последующую судьбу. Куусинен, один из секретарей Коминтерна, кандидат в премьеры коммунистической Финляндии (готовилась финская кампания, и в Москве намечалось присоединение Финляндии к СССР по успешно апробированной модели советизации Прибалтики), подыскивал себе помощников для работы в Хельсинки. Коммунистическая Финляндия не состоялась. Но Куусинен, назначенный президентом новой советской республики, скроенной из лоскутков, оторванных у Финляндии и Карелии, не забыл Андропова: летом 1940 года он приглашает его в Петрозаводск и назначает первым секретарем республиканского комсомола.

Куусинен — современник Ленина, долгие годы живший за границей — оказывает значительное влияние на становление личности Андропова*. У него Андропов учился европейским манерам, Куусинен раскрыл перед ним секреты партийной службы, убедил изучить немецкий и английский языки, знание которых оказалось очень кстати, сперва на Севере, когда Андропову пришлось встречаться с экипажами американских и английских морских конвоев,

* Куусинен был выдающимся приспособленцем, даже по советским меркам. Он уцелел в чистках, хотя Сталин отправил в лагеря его жену, сына и ближайших друзей. Он отрекся от сына, когда тот умирал в лагере от туберкулеза. Уцелел он и после финской кампании, хотя его идея создать в Териоках Финское Демократическое Правительство, которое “пригласит” в Финляндию советские войска, позорно провалилась.

привозивших в Мурманск оружие и продовольствие для советской армии, а позднее, уже после войны, — на дипломатической работе.

Меньше года работал Андропов со своим патроном; с началом второй мировой войны Куусинен уезжает в Москву, а Андропов уходит в подполье, участвует в партизанском движении. После освобождения Карелии Куусинен и Андропов вновь в Петрозаводске. Куусинен — с надеждой на советских штыках возвратиться в Финляндию, а Андропов — в качестве второго партийного секретаря города. Финляндии еще раз удалось выскользнуть из смертельных объятий Москвы и сохранить независимость, и Сталин теряет интерес к Куусинену, влияние его в партийном аппарате падает и о нем забывают в Москве. Бывшие соратники Куусинена, недавно раболепствовавшие и угодливо заискивавшие перед ним, спешат от него отдалиться. Андропов однако сохраняет добрые отношения с бывшим шефом, хотя, как и другие, ищет и находит новых покровителей. Суслов представляет его Маленкову, и в 1948 году Андропов уже второй секретарь ЦК Компартии Карело-Финской ССР.

Второй секретарь ЦК союзной республики — это в сущности наместник Москвы: в его руках кадры, армия, служба безопасности, под его контролем — первый секретарь ЦК и косвенно — культура и идеология. Несмотря на неопытность и молодость, Андропов хорошо справляется с новыми обязанностями, обходит опасные рифы послевоенной партийной чистки, принимает участие в кампании борьбы с “космополитами” и “перерожденцами” и в 1951 году его забирают в ЦК КПСС.

К этому времени Андропов закончил университет в Петрозаводске и Высшую партийную школу в Москве (заочно). Не прошло и года, как Андропов идет на повышение: из инспектора по кадрам становится завсектором ЦК, а в декабре, после 19-го съезда партии, он уже — начальник подотдела ЦК КПСС.

В советских кругах разворачивается драматическая борьба, происходят перетряски, снятия, аресты в партии и армии, но перед Андроповым, обласканным Маленковым, открываются блестящие перспективы.

И вдруг — смерть Сталина. Переброска кадров Хрущевым — и Андропов вне партийного аппарата. Его назначают заместителем заведующего четвертым отделом МИД, курирующим восточноевропейские страны. По советским понятиям переход с партий-

ной на дипломатическую работу — понижение, тем более с места Андропова — оно, как минимум, “обменивалось” на должность заместителя министра. Но в партийном аппарате у Андропова остаются друзья — Сулов и Пономарев. Они не забывают Андропова, и не проходит года, как в жизни Андропова происходит новый зигзаг — на этот раз (в конце 1953 года) его посылают советником в посольство СССР в Венгрии, а вскоре назначают там советским послом.

По существу, посол в коммунистической стране — та же партийная работа, но в особых условиях. Именно в этих условиях таились для Андропова опасности. Как кандидат в члены ЦК КПСС (все советские послы в коммунистических странах должны были быть представлены в Центральном Комитете, и Андропова кооптируют в ЦК — сперва, как члена ревизионной комиссии, затем — как кандидата), он являлся в Будапеште “человеком” не столько министерства иностранных дел, сколько партийным аппаратчиком и обязан был отчитываться главным образом перед Центральным Комитетом. Но Андропов сумел на незнакомом поприще проявить недюжинное дипломатическое дарование (не столько профессиональное, сколько прирожденное). Он не давал почувствовать своему непосредственному начальнику — Громыко — свою независимость: ни тогда, когда был послом, ни позже, когда был назначен заведующим отделом ЦК и стал полноправным членом Центрального Комитета, сравнившись с министром по статусу.

Обязанности советского посла в коммунистической стране многообразны и противоречивы: с одной стороны, он представляет партию, с другой — МИД, с третьей — КГБ. Удобный путь сделать карьеру — выбрать одну из этих могучих организаций и опереться на нее. Выгоднее всего, конечно, — партию. Тогда сразу можно начать плести сложную сеть интриг: посылать, минуя МИД и КГБ, в Секретариат ЦК, а если есть влиятельный покровитель (у Андропова он был — Куусинен), то непосредственно в Политбюро отчеты с обзором и анализом положения в стране, в которой работаешь, а попутно — с ненавязчивой критикой МИДа или КГБ. Такие усилия, как правило, не остаются незамеченными. И спустя некоторое время удачливый посол назначается генеральным директором министерства иностранных дел или даже заместителем министра (так сделал свою карьеру замминистра Фирюбин — посол в Югославии). Путь соблазнительный, но риско-

ванный. Если министр иностранных дел в силе и почете, посла могут отозвать в Москву и назначить на малозначительный пост. И хорошо если в МИДе, а то сошлют в "глубинку" России районным или городским секретарем до самой пенсии. И здесь могут не помочь высокие покровители. Они отступятся от посла, если их интересы (или расстановка сил в ЦК) подскажут им не противодействовать министру. Больше того, незадачливый посол своим падением сослужит им добрую службу — его кровью, ценой его головы они завоюют расположение и благосклонность в МИДе (что при всей их значительности не помешает: даже у самых влиятельных есть дети, которых совсем неплохо пристроить на дипломатическую работу).

Андропов не пошел по этому пути. Имея отличные связи в Центральном Комитете, он неизменно подчеркивал свою лояльность и почтение к Громыко (спустя почти 30 лет Громыко вспомнит об этом и поддержит Андропова в его притязаниях на власть в Кремле, и эта поддержка окажется решающей в борьбе за наследство Брежнева).

В ЦК КПСС Андропов посылал отчеты, всегда доброжелательные по отношению к Громыко и его сотрудникам. Даже когда материалы готовились специально для ЦК (конфиденциальные доклады для международного отдела), и тогда Андропов находил возможность посоветоваться с Громыко, старался он сделать его сопричастным и к своим сообщениям в КГБ.

В результате все три ведомства — ЦК КПСС, МИД и КГБ — оставались довольными Андроповым. И даже когда в Венгрии вспыхнула революция, в Москве — ни в ЦК, ни в МИДе, ни в КГБ — не пытались свалить вину на посла, как это принято в Советском Союзе. Напротив, Андропов оказался удобным и для КГБ, и для МИДа. Перед лицом неизбежного разноса в Политбюро, МИД и КГБ, постоянно конкурирующие друг с другом, проявили единодушие в поддержке деятельности Андропова в Будапеште. Андропов, со своей стороны, верный принципу "быть хорошим для всех" и отводя удар от КГБ и МИДа, убеждал Москву в том, что вся вина за брожение в Венгрии лежит... на Сталине — в допущенных им ошибках при выборе и расстановке руководителей в Венгрии и предложенных им методах управления. Такая интерпретация венгерских событий оказалась удачной и выгодной для Хрущева — она снимала с него ответственность за восстание в Будапеште, которую стремились возложить на

него Маленков и Молотов, рассматривавшие десталинизацию как начало распада советской империи.

Андропов оказался в благожелательном фокусе ЦК, КГБ и МИДа — его приглашают в Москву для консультации и советов, встречи с ним ждут, чтобы узнать новости из первых рук, высокопоставленные работники министерства обороны и Совета Министров, его заслушивают — высокая честь для посла — на специальном заседании Политбюро. В результате Андропов, манипулируя КГБ и МИДом, апеллируя к ЦК, получает в Будапеште полную свободу действий — явление небывалое для советского посла ни до, ни после этого. И Андропов дает выход своему тщеславию — одевается у лучших портных Будапешта, посещает дорогие рестораны, устраивает вечера и приемы в посольстве — далеко за полночь, с французскими винами, английским виски, с цыганским ансамблем, занимаемым у Будапештской полиции. Он ведет себя совершенно раскованно и независимо — музицирует, охотно, с проникновенностью и чувством (так во всяком случае тогда казалось) поет народные венгерские песни (ему особенно понравилась баллада о журавле, оставляющем свою любимую и улетающем в чужие края).

При всем этом образ жизни Андропова был полностью в рамках той социальной роли, вернее ролей, которые отводились ему КГБ, МИДом и ЦК — каждая роль отвечала целям этих организаций. В соответствии с установкой КГБ он держался гордо, раскованно, часто посещал европейские посольства, допускал многозначительные высказывания, в которых при желании (а оно всегда было у западных дипломатов) можно было усмотреть независимость мышления и либеральные взгляды. Об одном из таких суждений вспоминает австрийский дипломат Вальтер Пайнсип: "Вот я коммунист, — как-то сказал ему Андропов, — а Вы представляете противную точку зрения, но это не мешает нам понимать друг друга". Заявление явно необычное для советского официального представителя. Но Андропов мог позволить себе большее. Он продолжал: "Каждый человек имеет убеждения — должен их иметь. Без них человек ничего не значит. Было бы прекрасно и просто, если бы все люди на земле имели одни и те же взгляды..." Андропов сделал паузу и продолжал доверительно, слегка понизив голос, словно не желая быть подслушанным. "Но, поверьте мне, это было бы скучно..." И Вальтер Пайнсип ему поверил.

ЦК требовало от Андропова сблизиться с новыми венгерскими руководителями. Здесь пропуском ему служили декларируемая им терпимость, показная демократичность и... улыбка. Сразу после заявления Имре Надя о желании вывести Венгрию из Варшавского пакта, Андропов посылает ноту протеста... против проникновения хулиганов на территорию советского посольства. В атмосфере гнетущей напряженности венгерское правительство поспешно снаряжает на встречу с советским послом Шандора Копачи, префекта будапештской полиции, коротко знавшего Андропова и часто бывавшего у него в доме. В посольстве Копачи встретила тишина... и улыбающийся Андропов (за ним стояли работники посольства), мягко объяснивший, что протест — недоразумение. Хулиганов вообще-то не было, а были две старые женщины, желавшие погреться в посольстве. Андропов казался смущенным. Он заверил Копачи, что завтра, самое позднее — послезавтра начнутся переговоры — он уполномочен их вести с правительством Имре Надя — о выводе советских войск из Венгрии. Копачи пристально посмотрел на посла — ему показалось, что Андропову можно верить. На следующий день — 3 ноября 1956 года — было подписано соглашение о выводе советских войск. А еще через день началось советское вторжение в Венгрию.

Впечатление, что Андропову можно верить, в Венгрии в те дни складывалось у многих. Копачи в последний раз видел Андропова, когда по пути в югославское посольство был задержан советским патрулем. Андропов приветствовал своего коллегу по пению (в прошлом они часто встречались за стаканом старого бургундского вина, слушая и распевая песни) и сообщил, что Янош Кадар, формируя правительство, хочет его видеть. Встреча с Кадаром не состоялась, Копачи в посольстве был арестован. "Я увидел Андропова, стоящего на лестнице и улыбающегося своей знаменитой добродушной улыбкой... Но при этом казалось, что за стеклами его очков разгорается пламя. Сразу становилось ясно, что он может, улыбаясь, убить вас, — это ему ничего не стоит".

МИД возложил на Андропова особо трудную миссию: важно было убедить общественность Запада, что и в условиях оккупации Венгрии с Москвой можно сотрудничать. Верно, советские танки утюжили мостовые Будапешта, расстреливая восставших, шли повальные аресты сторонников Имре Надя. Но ведь в СССР, кроме маршала Конева и Хрущева, еще остаются такие милые, обходительные люди, как Андропов, — должны были думать и

думали в Будапеште. Встречаясь с венгерскими руководителями, арестованными или подлежащими аресту, Андропов понимающе смотрел на них, как бы молчаливо говоря: “Как коммунист, я понимаю необходимость насилия, но как человек, не могу его не осуждать”.

Финалом “миротворческих” усилий Андропова в Будапеште были переговоры о “выводе советских войск из Венгрии” — они открылись 3 ноября 1956 г. в поселке Токал. В полночь в комнату, где шли переговоры, вошел генерал Серов — шеф КГБ. Венгерская делегация была арестована, а ее руководитель, министр обороны революционного правительства Пал Малетер — расстрелян.

Да, недаром Андропова считали в Будапеште “открытым” человеком — он действительно широко открыл “двери” Венгрии перед советской армией. А советская армия, подавив восстание в Венгрии, открыла Андропову “двери” Москвы. Хрущев оценил усердие и усилия Андропова по усмирению непокорных мадьяр, и в мае 1957 года назначил его заведующим вновь созданного в Центральном Комитете Отдела Социалистических стран.

В Москве Андропов застал и Куусинена, который с упразднением опереточной Карело-Финской республики, созданной Сталиным, стал членом Политбюро и Секретарем ЦК КПСС — для уравнивания влияния Суслова в области идеологии и внешней политики.

Куусинен умер незадолго до начала эры Брежнева. Но за годы, проведенные в Центральном Комитете, он успел сделать многое. Единственный член Политбюро революционного поколения, уцелевший в сталинских репрессиях, он помог Гомулке укрепиться у власти в Польше, помог Кадару в эволюционном процессе реформирования венгерской экономики. Умеренные взгляды Куусинена проявились и в назначении профессора Бурлацкого (наиболее последовательного сторонника десталинизации) на должность заведующего группой консультантов Центрального Комитета. В тени (и под руководством) Куусинена Андропов создает новую систему связи с коммунистическими партиями советского блока — более терпимую и либеральную. Он принимает участие в переговорах с Китаем, посещает Чехословакию, Польшу, Болгарию, Румынию, ездит в Монголию, Корею, Северный Вьетнам.

Десятилетие 1957–1967 годов было сложным, но Андропов преодолел все его подводные камни. Он с легкостью (и без сожаления) отказывается от пропаганды в ЦК опыта экономиче-

ских реформ в Польше и Венгрии, как только выясняется, что Хрущев потерял к ним интерес. Он спешит забрать назад у восточноевропейских компартий ту небольшую автономию, которую им предоставил Куусинен, как только в аппарате вновь усилились позиции Суслова — сторонника жесткого курса.

Не имея (или не проявляя) собственных идеологических позиций, Андропов оказывается блестящим интерпретатором взглядов начальства, талантливейшим выразителем политической конъюнктуры. Был спрос на либерализм — и не было в аппарате ЦК более страстного поборника послаблений; изменился социальный заказ, в партийной моде оказалось бюрократическое администрирование, и Андропов — сторонник централизации. Он умел оставаться желанным слугой всех господ, и они, враждуя между собой, неизменно благоволили к нему: в 1961 году его избирают членом Центрального Комитета, а в 1962 году Секретарем*.

Только один человек в советском руководстве мог бы оспаривать у Андропова рекорд приспособленчества — Микоян. Но Микоян не смог достаточно быстро перестроиться с приходом в Кремль нового Генсека — Брежнева и впал в немилость. Андропов же сумел и даже настолько преуспел в этом, что Брежнев стал опираться на него, освобождаясь от своих соратников по Политбюро — Шелепина и Шелеста, которые привели его к власти. Но именно тогда расположение хозяина, так надежно и верно служившее Андропову в его благополучной карьере, поставило его на грань катастрофы. Это произошло в мае 1967 года.

В том злополучном году происходят катастрофические провалы советской разведки, распадается коммунистическая агентурная сеть в Средиземноморье — Греции, Италии, Франции, идут массовые аресты советских шпионов, более 100 чекистов и дипломатов высылаются из Англии. И всему виной Шелепин и его креатура — шеф КГБ Семичастный, их необузданное тщеславие: они решили любой ценой вернуть в СССР дочь Сталина Светлану Аллилуеву, попросившую незадолго до этого политическое убежище в США. По ее следу были брошены лучшие сотрудники КГБ,

* Со смертью Куусинена, созданная им группа советников переходит к Андропову. Но Хрущев, сосредоточив в своих руках всю власть, не испытывает более необходимости в советниках и советах. И Андропов спешит заменить яркого, самостоятельно мыслящего Бурлацкого серым, но угодливым Арбатовым. Он вполне устраивает Хрущева, удобнее и спокойнее с ним и Андропову.

а по их следу пошла американская разведка. Ловушка стоила Советскому Союзу крупного международного скандала, а Семичастному — места*.

У Брежнева появилась возможность вырвать из рук Шелепина КГБ, опираясь на который тот мог когда-нибудь попытаться прийти к власти (честолюбия своего Шелепин не скрывал), и посадить туда председателем своего человека. Выбор пал на Андропова. Брежнев не мог быть уверенным ни в Секретариате ЦК, ни, тем более, в Политбюро: каждому, кто там был в 1967 году, он был обязан своим избранием Генсеком, хотя меньше всего — Андропову. Поэтому и на Андропова он мог положить-ся не до конца.

Вот почему Брежнев, приняв решение назначить Андропова председателем КГБ, одновременно приставляет к Андропову в качестве первого заместителя своего родственника — Семена Цвигуна**, при этом понимая, что у того нет для этого опыта: он сравнительно недавно по рекомендации Брежнева был назначен председателем республиканской службы безопасности в Азербайджане. Не соответствовал он и званием — был генерал-майором. Но выбора у Брежнева не было; и Цвигун, перескочив очередное звание, сразу стал генерал-полковником. Брежнев в Цвигуне не ошибся — он оставался верным ему и служил “не на жизнь, а на смерть” в буквальном смысле.

Что же касается Андропова, то ему в 1967 году назначение Председателем КГБ виделось, надо думать, началом конца карьеры, тупиком, из которого нет выхода в коридоры власти — в партийный аппарат, в котором — и только в нем — должен был решаться (и решиться без него) вопрос о наследнике Брежнева. Андропов был тринадцатым по счету руководителем государственной безопасности — пятеро его предшественников были казнены (Ежов, Егоров, Меркулов, Абакумов, Берия), один застрелился (Серов), все остальные или умерли, работая в КГБ,

* Не исключено, что снятию Семичастного предшествовала попытка чекистского путча, подавленная отборными армейскими частями Московского гарнизона. В 1967 году Верховный Совет СССР вручил ордена и медали большой группе военнослужащих Кантемировской танковой дивизии без указания причин. Награждения последовали за кратким сообщением в прессе о внезапной смерти 15 высших офицеров КГБ (среди них двух генералов, один из которых был начальником Третьего управления КГБ).

** В будущем Брежнев “обложит” Андропова — для надежности — еще двумя заместителями — Виктором Чебриковым в 1968 году и Георгием Циневым — в 1970 году. Оба из его “Днепропетровской мафии”.

“при исполнении служебных обязанностей” (возможно, им помогли умереть), или пали в немилость.

Андропов был примерным коммунистом — он помнил слова Ленина: “Без государственной безопасности советская власть существовать не может”. И еще: “Каждый коммунист должен быть хорошим чекистом”. С тех пор, однако, аппарат государственной безопасности претерпел изменения: он был открыто обвинен Хрущевым в чудовищных преступлениях, его слава как всемогущей и всезнающей организации слиняла и поблекла настолько, что к 1967 году ни один кадровый чекист не был представлен в Центральном Комитете. А предшественник Андропова — профессиональный партийный работник, в прошлом возглавлявший Комсомол, — был всего лишь кандидатом в члены ЦК КПСС. Был подорван не только престиж, но основательно ущемлен общественный статус государственной безопасности: из важнейшего национального управления при Ленине, из всемогущего министерства, стоящего над партией при Сталине, она при Хрущеве была низведена до положения обычного Комитета под двойной системой контроля — партийного и государственного.

Вместе с тем Андропову было очевидно, что полицейское государство не может эффективно функционировать без надежного, хорошо организованного аппарата полицейского насилия. Речь шла не только о его, Андропова, карьере, но и о будущем режима, которому Андропов служил. Поэтому принимая предложение Брежнева возглавить государственную безопасность, Андропов, надо полагать, оговорил необходимость реабилитации политической полиции. А для того, чтобы создать в обществе соответствующую психологическую атмосферу, предложил поднять авторитет ее руководителя. Идея была принята, и Андропов становится кандидатом в члены Политбюро. Не исключено, что Брежнев не пришлось уговаривать — он и сам стремился одарить Андропова, ибо исполненный благодарности шеф КГБ лучше, чем затаивший обиду. Кроме того, вводя Андропова в Политбюро, Брежнев привязывал его к себе, делал зависимым от партийной машины.

Андропов полагал, по-видимому, иначе. КГБ, руководимый пусть пока не членом, а лишь кандидатом в члены Политбюро, из инструмента, орудия власти превращался в ее соучастника, с возможностью в перспективе стать органом высшей власти.

Реализация этой потенции КГБ вновь вводила бы Андропова в игру за политическую власть в Кремле. Андропов не только в

это верил, но, как человек действия, стал настойчиво и упорно трудиться для достижения этого.

Начинал он с рекламы. "Товар КГБ" необходимо было прежде всего эффектно и броско преподнести: приоткрываются, значительно препарированные, кое-какие архивы государственной безопасности, и перед пораженным обывателем прокручиваются с помощью средств массовой информации "фантастические" подвиги чекистов. В общественное обращение запущены и традиционные, "вечно живые" герои, и новые — периода Второй мировой войны и сегодняшних дней. Пропаганда ставится основательно. В Союзе Советских Писателей организовывается специальная секция: военно-патриотическая — ее курирует КГБ. КГБ же (совместно с советской милицией — так солиднее) создает особые денежные премии за лучший очерк, репортаж, рассказ, повесть, роман о чекистах, конечно же бесстрашных, мужественных и обязательно чутких, внимательных, заботливых. И жаждущая наград, премий и денег, услужливая пишущая братия, от именитых и известных писателей до начинающих, бросилась выполнять партийный наказ: идеологический рынок заполнили тысячи книг, сотни фильмов о подвигах сексотов "плаща и кинжала" (точнее "щита и меча" — символа КГБ).

С одобрения Андропова в работу "впрягаются" и сотрудники органов во главе с первым заместителем председателя КГБ генерал-полковником (вскоре он станет генералом армии) Семеном Цвигуном. Штампуются фолианты с воспоминаниями и автобиографиями.

Мертвые чекисты помогали живым: они очищали гебистов в общественном сознании от "кровавых наветов" Хрущева, и они вновь представлялись "рыцарями революции" — с "чистыми руками, холодным разумом и горячим сердцем" (Дзержинский).

Такова была прелюдия, за ней последовали и первые серьезные действия. Андропов выводит государственную безопасность из-под контроля советских министров — она становится подотчетной Политбюро, а с избранием Андропова полным членом Политбюро — только Генеральному Секретарю — честь, которой до этого были удостоены только два министерства: иностранных дел и обороны.

Государственная безопасность возвращается "на равных" в состав советской руководящей иерархии: из Комитета при Совете Министров она превращается в Комитет Совета Министров, то

есть в организацию с правами министерства, как в сталинские времена.

Важное достижение Андропова: при нем сотрудники безопасности вновь становятся надежными, самыми надежными “сынами партии”. При Хрущеве политическую полицию стремились держать на определенной дистанции от руководящих органов, отныне — заместители Андропова вводятся в состав Центрального Комитета (первым был С. Цвигун). Но суть успеха Андропова даже не в изменении общественного статуса и социального престижа тайной полиции. Он достиг неизмеримо большего. При нем служба безопасности становится каркасом государства, человеческим арсеналом, из которого перекачиваются в партийный аппарат кадры. Генералы КГБ становятся первыми секретарями республиканских Центральных Комитетов (Г. Алиев, Э. Шеварнадзе, П. Гричкявичус). Андропов стал председателем КГБ в трудное для советского правительства время. Осуждение писателей Синявского и Даниэля за публикации на Западе их произведений вызвало в мире столь мощную волну осуждения и протеста, что поставило под угрозу расширение экономических и политических связей СССР со свободными странами. В Москве — а затем и на Украине, в Прибалтике, в Грузии, Армении — возникают движения противодействия режиму: группы защиты прав человека, по расследованию злоупотреблений в психиатрических больницах, по защите этнических меньшинств, по защите верующих и другие. Евреи и немцы вышли на демонстрации, заявляя о своей решимости покинуть страну. Диссидентское брожение и стремление к эмиграции захлестнули страну. Для полной ликвидации брожения необходимо было, казалось, обратиться к тотальному террору, от которого правящему классу — советской партократии — с трудом удалось освободиться после Сталина.

Поначалу сила традиции еще довлела над Андроповым: проводятся громкие процессы — суд над Якиром и Красиным проходил по сталинскому сценарию, с самобичеванием и отречением. Организуется и судебное действие с публичным избиением — “самолетное дело” в Ленинграде. Эти судебные представления однако с позиции режима оказались ошибочными и свидетельствовали скорее о просчетах Андропова. Тогда, не видя возможности полного уничтожения правозащитного и национального движений, Андропов решил расправиться с их публичными

формами и проявлениями. Без лишнего шума, без тотальных средств подавления и общественных потрясений Андропову удалось относительно быстро — в течение менее пятнадцати лет — и как-то совершенно незаметно для самих инакомыслящих расставить их по углам огромной русской империи: поместить на принудительные работы, осудить за инспирированные преступления, отправить в ссылки или, лишив советского гражданства, в изгнание. К концу 1980 года большинство групп духовного сопротивления было уничтожено или парализовано. И при этом Андропову удастся прослыть чуть ли не либералом. Столь велик страх перед КГБ на Западе и в СССР, что в заслугу Андропову ставили, что Солженицына и Сахарова не арестовали, Кузнецова и Дымшица — не расстреляли. В общественном сознании Андропов избежал репутации палача. А применяемые при нем методы: заточение оппозиционеров в психиатрические больницы, лишение инакомыслящих гражданских прав и средств к существованию — в советском понимании все-таки выглядели лучше, чем массовые репрессии и расстрелы времен Ежова и Берии. Впрочем, советская машина насилия при Андропове сохранилась в неприкосновенности; в СССР это понимают и в заслугу Андропову ставят, что она при нем работает не на всю мощь, не на полных оборотах. Во всяком случае, Андропов без нужды действительно старался не пачкать рук. И если представлялось возможным, пытался прослыть великодушным и чуть ли не гуманным — над созданием такого представления о нем усердно работал специальный штаб в КГБ.

Когда однажды поздно ночью к нему в подпитии позвонил Евтушенко и стал упрекать за высылку из страны Солженицына ("Как Вы могли лишить страну такого таланта?"), Андропов снисходительно посоветовал поэту выспаться... и позвонить еще раз. Потом в Москве рассказывали: "представляете, не было даже окрика, угроз. А ведь захоти, посадил бы..." Мог посадить — верно. Но мог Андропов, если требовалось, быть и гибким и осмотрительным. П. Григоренко свидетельствует: "в 1967 году представителей крымских татар, изгнанных со своих земель еще Сталиным, пригласили в Москву для встречи с ответственным партийным руководством. В Центральном Комитете делегацию ждал сюрприз: ее принимали главные полицейские страны: председатель КГБ Андропов, министр внутренних дел Щелоков, Генеральный прокурор Руденко. Андропову был задан вопрос: "В каком качестве вы лично участвуете в комиссии — как кандидат в члены Полит-

бюро или как председатель КГБ?” Андропов пытался уйти от ответа. “А разве это не все равно? Все мы трое — члены ЦК партии и каждый, кроме того, занимает определенное служебное положение”. — “Нет, не все равно. Если вы здесь, как кандидат в члены Политбюро, мы начнем высказываться, если же, как председатель КГБ, мы покинем этот зал, не приступая к переговорам”. Андропов несколько растерянно, но не теряя самообладания, ответил: “Я конечно поставлен во главе комиссии, как кандидат в члены Политбюро”. Председатель КГБ планировал, возможно, перекрестный допрос делегатов. Но следствие не состоялось: крымские татары заявили: “У нас нет общего докладчика и нет руководителя. Мы все получили одинаковые полномочия, и вы должны выслушать каждого из нас”. Андропов смирился. Настойчивость делегатов не помешала ему излучать приветливую улыбку, мягко заверять, что он “непрерывно” и “обязательно” позвонит первому секретарю ЦК Узбекистана Рашидову, и крымским татарам создадут необходимые условия для встречи с земляками — они спокойно и обстоятельно расскажут им о встрече в Москве. “Если хотите, — заверял Андропов, — вы получите для встречи лучший в Ташкенте театр — “Навои”.

Председатель КГБ проводил делегатов до выхода. Хотелось верить Андропову... В Ташкенте крымским татарам театр “Навои” не дали, не разрешили и собраться под открытым небом. Не позволили крымским татарам и вернуться в Крым — на свои земли.

Андропов мастер манипулировать страхом, не прибегая к насилию. По его рекомендации были введены так называемые системы предупреждения. Диссиденты (ими могли быть верующие или добивающиеся права на выезд и т. п.) вызывались к следователю и ставились в известность о необходимости прекратить “нежелательную деятельность”. Предлагалось при этом расписаться в получении предупреждения. В суде этот документ рассматривался как отягчающий вину обвиняемого.

Андропов, почитатель современного искусства, хранит богатую коллекцию пластинок американского джаза (предпочитает Глена Миллера), на стенах его квартиры на Кутузовском проспекте в Москве, обставленной стилизованной венгерской мебелью — абстрактная живопись — подарок Яноша Кадара. Среди картин — работы художников, чью выставку, по указанию Андропова, разогнали бульдозерами. Они как бы призваны подчеркнуть два

облика жандарма: дома с друзьями он человек образованный, если хотите — утонченный: завтраки всегда подаются в континентальном духе — французские салаты, на столе только виски и коньяк, водку не пьют. А на работе, не взыщите — служилый человек. Среди любимых книг — Солсбери “Врата Ада”, где выведен Солженицын и... сам Андропов, которого только партийный долг заставляет выслать за границу писателя (в душе он понимает и сочувствует ему) .

И, понятно, он — человек вдумчивый, солидный и мыслящий: таков шеф КГБ в романе, таким он старается быть на людях. Но порой занавес лицемерия приподнимается, и тогда нам предстает Андропов подлинный — жестокий и черствый. В 60-е годы в Москве по подозрению в шпионаже был арестован британский гражданин русского происхождения Будлак-Шарыгин. Однажды, после долгих и безуспешных попыток склонить арестованного к сотрудничеству с советской разведкой, его представили Андропову. Шеф КГБ спросил: “Почему вы отказываетесь поработать на благо родины”? “Моя родина — Великобритания”, — ответил арестованный. “Ну что же, в таком случае судите его”, — приказал Андропов. Следователь робко заметил: “Будлак-Шарыгин на самом деле английский гражданин”. Андропов улыбнулся: “Подумаешь, не будет же королева объявлять нам войну из-за какого-то Шарыгина”.

Можно оспаривать мнение, будто Андропов отучил КГБ от крови, но несомненно, что при Андропове советская тайная полиция добилась такого могущества и влияния, какого она не знала и не имела никогда в прошлом. И суть даже не в том, что усилиями Андропова КГБ стал огромной разветвленной, многочисленной разведывательной организацией, какой никогда не знала история: 900 тысяч сотрудников и агентов (по сведениям ЦРУ — более миллиона), сотни штаб-квартир, разбросанных по различным континентам.

Главное состояло в том, что Андропов ввел КГБ в совершенно новую для него идеологическую игру. Классическая концепция ленинизма, утверждающая, что все народы мира придут к коммунизму самостоятельно, своим путем, в интерпретации Андропова толковалась: все народы мира придут к коммунизму, если их... приведет КГБ. Это положение, представляемое как философское переосмысление и развитие марксизма в современных условиях (хотя и не сформулированное столь откровенно и прямолинейно) ,

кладется в основу официальной доктрины Кремля, определяющей глобальную советскую политику. Движущей силой "мировой революции" становится отныне не коммунистическая партия Советского Союза (ее международный авторитет был утрачен в эпоху Хрущева), а советская тайная полиция.

Благодаря этому перед КГБ раскрывается исключительно важная сфера деятельности: определение приоритетов советской внешней политики, — а для его шефа Андропова открывается путь к вершине власти.

В 1969 году, в рамках этой политической ориентации, КГБ, по инициативе Андропова, собирает в Москве исполком новой международной организации — Террористического Интернационала (официальное его название: "Международная Ассоциация революционеров-радикалов"). Против террористического форума возражал Суслов. Не имея возражений по существу, Суслов, партаппаратчик сталинской школы, боялся, что съезд, если сведения о нем просочатся на Запад, подорвет престиж коммунистического мировоззрения. Но Андропова активно поддержали Кириленко и Шелепин. Они убедили Брежнева, и съезд открылся в "Доме дружбы с зарубежными странами" (Москва, улица Калинина, 14). Были приняты соответствующие меры предосторожности: он проходил в середине сентября — в Москве мертвый сезон; некоторые делегаты выступали при отключенном электричестве, в полной темноте (председательствующий в таких случаях объявлял: "Слово предоставляется представителю делегации, находящейся "на передовом фронте борьбы с империализмом" или — другая вариация — "на временно захваченных арабских территориях. Просим не зажигать папирос и не открывать дверей".) Секретариат ЦК на съезде представлял Пономарев, Политбюро — Андропов (он начинает уже функционировать в двуедином облике — не только шефа политической полиции, но и высокого партийного начальства). От КГБ был десяток высоких чинов, в том числе первый заместитель Андропова генерал С. Цвигун. Съезд готовился тщательно и в глубокой тайне. Прибывших из-за рубежа террористов было сравнительно немного — несколько десятков, в основном с Ближнего Востока, по одному-два из Франции, Германии, Ирландии, а также из Южной Америки, Скандинавии и Японии. Основная масса — около двух сотен человек — была рекрутирована на месте, среди студентов университета Патриса Лумумбы, Московского университета —

и до ста представителей — из иностранных студентов периферийных советских университетов.

По решению форума (и с благословения КГБ) в СССР были созданы законспирированные школы для террористов; были созданы они и в Болгарии. Здесь террористы (немецкие, арабские, ирландские, французские), пройдя курс обучения, сколачиваются в организованные группы; из разрозненных шаек убийц и грабителей превращаются в серьезную оперативную силу КГБ с конкретными планами и задачами, направленными на подрыв политической стабильности свободных демократий.

Многие годы назначение государственной безопасности (даже при всем ее всеисии при Сталине) было функциональным: решать конкретные задачи, поставленные коммунистическим руководством. При Андропове, в соответствии с новым предназначением — быть инструментом мировой коммунистической революции — КГБ стал из специфического средства решения политических целей их творцом.

В 1970 году органы безопасности запустили в пропагандистское обращение легенду о массивном строительстве в США противозатомных бомбоубежищ. В 1979 году утверждение КГБ об устрашающей силе нейтронной бомбы оказывается блефом, необходимым для эскалации в мире кампании за ее запрещение. Андропов непосредственно курировал создание комитетов по "борьбе за разоружение" в 120 странах (с центром в Хельсинки). По инициативе Андропова в Праге, Восточном Берлине, Будапеште и Сирии были учреждены школы для "журналистов", ведущих в западной печати пропаганду "мира".

В 1968 году советское правительство для прикрытия вторжения в Чехословакию манипулировало фальшивками КГБ "о концентрации враждебных сил" на ее границах.

Спустя десять лет тот же прием повторили перед оккупацией Афганистана: в советской печати настойчиво будировались слухи о консолидации "антикоммунистических группировок", якобы готовящих государственный переворот в Кабуле. Знакомый почерк КГБ становится стереотипом. Но Запад не желает учиться на собственных ошибках. И вот в европейской и американской печати раздаются голоса: "Андропов сопротивлялся афганской акции". Если бы шеф КГБ действительно был против афганской авантюры, он перестал бы быть шефом КГБ. Андропов был — не мог не быть — одним из тех, кто ратовал за успех и обосновал

необходимость коммунистического переворота и захвата Афганистана. Тем более, что "афганский эксперимент" был первым опытом привода к коммунизму "отдельно взятой страны" через КГБ и при поддержке армии. Затем последовало Никарагуа — и здесь КГБ достиг полного успеха уже без содействия советских вооруженных сил. Теперь в процессе "обработки" КГБ — Сальвадор. На очереди может быть любая страна, которую эксперты советской политической полиции сочтут "слабым звеном" в системе "международного империализма".

В 1980 году Андропов из Главного Управления КГБ, расположенного в здании на площади Дзержинского, 2, перебирается в строго засекреченный дом в северо-западной части Кремля, в котором хранится "тайная картотека" с данными о каждом человеке, интересующем КГБ, в том числе и о самых ответственных номенклатурных работниках. Намек — осторожный — членам Политбюро: нет ни одного партаппаратчика, которого политическая полиция, захоти, не смогла бы дискредитировать; более явный — всему партаппарату: партия не может управлять страной иначе как в союзе с КГБ. Но на самом деле честолюбивый взор Андропова был в это время прикован уже к другому зданию, не в Кремле, а на Старой площади в Москве — к зданию ЦК КПСС. Чтобы оказаться в нем, он готов был расстаться даже с КГБ, которому отдал 15 лет жизни, который давал ему неограниченную власть над 270 миллионами граждан его страны. Предвидя смерть Брежнева и борьбу за его наследство, Андропов ищет возможности сбросить с себя мундир шефа тайной полиции. Такая возможность вскоре ему представилась. Это произошло в январе 1982 года.

И. Земцов — советолог, автор книги "Партия или мафия?", руководитель Института исследований современного общества (Иерусалим)

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"
НОВАЯ КНИГА

ИЛЬЯ ЗЕМЦОВ. "АНДРОПОВ — ПУТЬ К ВЛАСТИ"

200 стр. (ориент.)

Цена 12 долларов

Первая на русском языке книга о загадочном "советском Макиавелли".

Дора Штурман

ЕЩЕ РАЗ О СОЦИАЛИЗМЕ*

1. Вступление

Книга И. Шафаревича “Социализм как явление мировой истории” есть итог захватывающего путешествия в миры социалистических и социализмоподобных учений и обществ. Следующие ниже заметки являются откликом на эту книгу.

2. Социализм как явление инстинктивное

Отложим на время истолкование понятия “социализм”, для которого у сотен исследователей есть свои, несходные с прочими, определения. Начнем с того, в чем усматривает И. Шафаревич один из могучих истоков социализма. И пусть пока что каждый читатель видит за словом “социализм” то, что он привык за ним видеть.

Вывод И. Шафаревича говорит: “Социализм — это один из аспектов стремления человечества к самоуничтожению, к Ничто, а именно — его проявление в жизни общества”. Стремление это является (по предположению И. Шафаревича, подкрепленному ссылкой на З. Фрейда) одним из присущих человеку извечно инстинктов. Но, говорит И. Шафаревич, поскольку “инстинкт предполагает достижение некоторой цели, полезной для индивида или хотя бы для рода”, то следует еще доказать, “что стремление к самоуничтожению играет для человечества какую-то полезную роль”. Без этого “аналогия с инстинктом должна рассматриваться лишь как частичная, иллюстрирующая лишь некоторые стороны этого явления”.

Я не берусь решать, присуща ли человечеству тяга к самоуничтожению и является ли эта тяга инстинктом, или пандемией какой-то душевной болезни, или кознями дьявола. На мой взгляд, тяготение человечества к социализму не проистекает из его проблематиче-

* Глава из новой книги

ской тяги к смерти и все примеры, приведенные И. Шафаревичем в защиту его гипотезы, являются неубедительными иллюстрациями необоснованного суждения.

И. Шафаревич относит к социализму кастовые деспотии прошлого, ряд учений, которые принято называть утопическими, европейские религиозные ереси разных веков, некоторые собственно социалистические доктрины XIX–XX столетий и их государственные воплощения.

Представляется весьма вероятным, что уравнительные, анти-собственнические европейские ереси, которые рассматривает И. Шафаревич, и социализм порождены в существенной мере осознанным и бессознательным отталкиванием человеческого ума и чувства от неравенства и жестокой иерархии в тех областях жизни, с которыми связаны были и еретики, и протосоциализм, и социализм. Но сколько бы сходных черт между ересями и (прото) социалистическими учениями мы ни обнаруживали, между ними есть одно многозначительное различие. Еретики постулируют достижение идеала (конечного, полного блага) лишь в потусторонней жизни, а социалисты и их предтечи твердо намерены построить идеальное общество в этом мире. Последнее справедливо и для верующих в Бога социалистов. А таковых, вопреки утверждению И. Шафаревича о тождестве социализма и атеизма, немало во всех крупнейших современных религиях.

Идеалы социалистов в их массово-пропагандистских интерпретациях имеют чаще всего характер потребительский и приземленный. Для малоимущих и неимущих “коммунизм есть коммунизм потребления, захвата, дележки”*. Его массовыми приверженцами правит стремление получить “сразу, много и дешево” (А. Грин), догнать, отобрать, разделить и зажить в свое удовольствие. Однако этим тяготение к социализму не исчерпывается. Столь часто цитируемая формула Ленина “грабь награбленное” во втором своем слове апеллирует не только к инстинкту потребления, но и к чувству справедливости! Было бы недобросовестным, даже просто нечестным, перечеркнуть не потребительские, а идеалистические побуждения протосоциализма и социализма, тождественные стремлению освободить, поднять, уровнять во благах и в творчестве, отдать, послужить. Нравственное чувство, восстающее против неравноправия и ущемленности других людей, есть, к счастью,

* В. М. Чернов, “Конструктивный социализм”, Прага, 1925, стр. 105.

такой же атрибут человечества, как и своекорыстие. К тому же нельзя забывать и о мощном и древнем инстинкте коллективизма. Кроме того, социалистами и их предтечами, в том числе и весьма отдаленными, движет могучий инженерный (созидательно-реконструктивный) инстинкт человечества, подкрепленный его техническим опытом. Человеку свойственно думать, что все нужное ему можно рассчитать и построить. Надо только отыскать правильный ключ к задаче. Соблазны изобрести вечный двигатель и создать идеально правильный общественный строй проистекают из одного и того же психологического источника. Разница между ними в том, что человечество более или менее осознало объясняемую ему со школьной парты фундаментальную невозможность создать вечный двигатель, а столь же объективная и фундаментальная невозможность построить идеальное общество им не усвоена. Но она и не объясняется ему с отроческих лет, как первая невозможность.

Поскольку литературный социализм обращен одновременно и к самому светлому, и к самому темному в человеке, каждый вкладывает в него наиболее импонирующее ему содержание. Инстинкты и разум, корысть и великодушие находят в нем в равной степени для себя пищу, и поэтому он так силен.

И. Шафаревич видит одно из наиболее мощных проявлений инстинкта самоуничтожения, породившего социализм как мировое явление, в призывах к разрушению, столь яростно прокламируемых анархистами, частью марксистов и другими леворадикальными экстремистами. Нельзя однако упускать из виду, что разрушение это имеет всегда характер предуготовительный: оно всего-навсего должно расчистить место для стройки. Гибель и разрушение никогда не цель теоретического социализма, а всегда только его этап. Даже у экстремистов это пролог, а не эпилог, занимающий жизнь целого поколения, а то и нескольких, поэтому акцент делается на нем, а не на созидании. Но все же и это есть *субъективно* (для разрушителей) извращенное служение конструктивности. Умеренные социалисты призывают строить новое общество, эволюционно преобразуя старое, в его недрах, а экстремисты — на голом месте, на руинах старого. И если поколение разрушителей готово и даже жаждет погибнуть и видит в этом свой долг и программу, то, повторяю, за ним в теории всегда следует поколение строителей нового и лучшего мира, лежащего неизменно по эту сторону бытия. И после победы экстремистских партий "большой террор" возникает не из голой жажды власть имущих уничто-

жать и не из тяги подданных этой власти к гибели. Те партии, которым удастся развернуться в централизованное монопартократическое государство, следуя своему идеалу, неизменно — по независящим от них обстоятельствам — создают систему хозяйства столь мало работоспособную, что заставить общество примириться с ней без террора и уничтожения свободной гласности они не могут. Светлое будущее все отодвигается и эфемеризуется, поневоле начиная играть роль чего-то ирреального, ибо оно практически недостижимо. Правящие силы прибегают к террору во имя своего самосохранения. Террор селекционирует властепослушных подданных партократии. Последние же склоняются к властепокорности не из подспудной тяги к самоуничтожению, а напротив, из стремления избежать опасного конфликта и гибели.

Примерно так же и в тех кастовых государствах прошлого, которые И. Шафаревич считает социалистическими тоталитарными деспотиями, не тяга к самоуничтожению, а жажда власти в одних случаях и жажда выжить — в других порождали, с одной стороны — жестокость, а с другой — покорность.

В ряду иллюстраций предопределенности социализма всечеловеческой тягой к самоуничтожению И. Шафаревич помещает и рассуждения Сен-Симона и Энгельса о неизбежной — в очень далеком будущем (у Сен-Симона — через 80.000 лет, у Энгельса — через миллионы лет) гибели: у Сен-Симона — человечества, у Энгельса — всей солнечной системы. У обоих это вывод из их космогонических и естественнонаучных представлений — вывод, не имеющий никакого отношения к свойствам людей и формам человеческого общежития. Множество совершенно аполитичных ученых разделяют мысль о небесконечности существования жизни на планете Земля, солнечной системы и даже Вселенной. Констатация смертности не только человека, но и человечества и представление об ограниченности во времени тех или иных материальных явлений вовсе не означают тяги к этим финалам. Только вера в Бога позволяет человеку надеяться на необязательность такого конца.

Идея культовых самоубийств у еретиков, поставленная И. Шафаревичем в тот же ряд доказательств, во-первых, есть атрибут не социализма, а религиозных ересей, а во-вторых, как все культовые самоубийства и добровольные жертвы, провоцируется не тягой к смерти, а стремлением ускорить свой переход в иное, вечное существование. Нельзя ссылаться как на симптом человеческой тяги к гибели и на культ Нирваны: Нирвана, насколько я знаю,

не жизнь и не смерть, а нечто инокачественное и земной жизни, и земной смерти.

Находя в весьма, казалось бы, далеких друг от друга явлениях ряд общих и, по его убеждению, социалистических черт, И. Шафаревич делает вывод, что социализм есть "постоянный фактор" истории общества. Да, это по-видимому так, и причин тому много. И для постижения истоков этого факта нет нужды в гипотезе об универсальном действии инстинкта самоуничтожения.

3. Что же такое социализм

На основании изученного им обширного материала И. Шафаревич приходит к выводу, что социалистическими можно считать структуры и учения, имеющие или исповедующие следующие общие признаки:

- 1) уничтожение частной собственности;
- 2) уничтожение семьи;
- 3) уничтожение религии;
- 4) уничтожение общественной иерархии.

Далее говорится еще и об уничтожении культуры (5).

Беда, однако, в том, что свойства, выделенные И. Шафаревичем в качестве основных атрибутов как теоретического, так и практического социализма, присущи далеко не всем историческим и мировоззренческим феноменам, которые он исследует и определяет как социалистические. Так, атеизм не характерен для кастовых (часто теократических) деспотий прошлого и для ряда социалистических групп современности. По-своему религиозны были Мор, Кампанелла, Верас, Оуэн, Сен-Симон, Фурье и другие. Уничтожение семьи тоже исповедуют далеко не все социалистические учения и структуры. Многие говорят лишь о решительном изменении характера и функций семьи, а некоторые вообще не касаются этой проблемы. Отказ от моногамии в общепринятом смысле слова мыслился многими социалистами, в том числе Фурье и марксистами, не как общность жен или свальный грех и не как централизованная евгеническая политика Кампанеллы или нацистов. Предполагалась очистка брака как любовного союза от всех его экономических функций и соображений. Энгельс не раз говорит о том, что продолжительность индивидуальной половой любви у разных людей различна, а брак без любви аморален.

Поэтому должны быть уничтожены все хозяйственные, юридические и навязанные общественными предрассудками скрепы брака. Дети переводятся на общественное воспитание ради экономического и психологического раскрепощения супругов и ради полного уравнивания условий воспитания и развития, а значит и грядущих социальных возможностей детей.

В реальных "зрелых" социалистических системах семья как социально-экономический институт сохраняется. С другой постановкой вопроса пытались справиться, но не справились: Хрущев с его программой огосударствления воспитания детей не сумел по экономическим причинам обеспечить интернатами даже 5 процентов детей, как это намечалось сделать на первом этапе его школьных реформ. Но семья как малая группа ставится при социализме советского типа в полную зависимость от государства, его требований и интересов. Комплекс Павлика Морозова (пионера, донесшего на отца) и Любви Яровой (героини советской пьесы, предавшей мужа-белогвардейца из политических соображений) лежит в основе семейной политики коммунизма.

Откровенное анархо-нигилистическое отрицание культуры демонстрируют лишь радикально-экстремистские, эксцентрические "края" палитры социалистических идеологий. В центре палитры располагаются умеренные социалисты, которые отвращения к культуре как таковой не обнаруживают. Наиболее же часты и типичны призывы к отказу от "старой", "порочной" культуры эксплуататорского общества (иногда — с обязательствами выборочно сохранить ее ценные для нового общества элементы) и к построению на расчищенном месте новой культуры — культуры свободного и равноправного социалистического (коммунистического) общества. Вот как писал об этом интеллигентный большевик Н. Бухарин: "В стальных осколках, в ядовитых газах, во вшах, в человеческом кале и крови грозит задохнуться "благородная" культура капитализма, которая пожрет самое себя!.. ...Мы создаем и создадим такую цивилизацию, перед которой капиталистическая цивилизация будет выглядеть так же, как выглядит "собачий вальс" перед героическими симфониями Бетховена" ("Ленинизм и проблемы культурной революции", 1928). Что же происходит с культурой после победы социалистической (в том числе нацистской и коммунистической) партократии? Мы и здесь видим некий разброс вариантов: полное уничтожение культуры в Камбодже; вандализм и террор "культурной револю-

ции” в Китае; идеологизацию культуры и репрессивный контроль над ней в нацистской Германии, в СССР, в социалистических странах Восточной Европы, на Кубе, во Вьетнаме и др. Мы наблюдаем кроме того раскол культуры коммунистических стран на директивно управляемую область и на свободную и преследуемую нелегальную. Легализованная социалистическая культура искалечена и обеднена своим обязательным пребыванием в прокрустовом ложе официальной идеологии. Нелегализованная подвергается многообразным репрессиям или находится под постоянной угрозой.

* * *

Рассматривая множество весьма экзотических социализмов (всегда ли действительно социализмов?) и проявляя огромную эрудицию в их обнаружении, И. Шафаревич оставляет вне обсуждения большинство социалистических течений мысли и политической деятельности XIX—XX столетий, то есть большую часть не социализмоподобных, а собственно социалистических учений и движений. Этатисты шпенглеровского толка, “экономисты” и “легальные марксисты”, социал-демократы, “постепеновцы”, ревизионисты, социалисты-революционеры (эсеры), синдикалисты, муниципалисты, кооперативники, гильдейцы, то есть разного рода социализаторы-антиэтатисты, в том числе “конструктивные социалисты”; демократические социалисты наших дней, включая и российскую социалистическую оппозицию реальному социализму; христианские и мусульманские социалисты современности; еврокоммунисты — это лишь наиболее популярные из направлений социализма второй половины XIX—XX веков. Все они выпали из поля зрения исследователя, намеренного, по его словам, характеризовать социализм не частично, а наиболее обобщенно — “как явление мировой истории”. Это позволяет его оппонентам-социалистам утверждать, что собственно социализма в его наиболее современных и конструктивных формах он не коснулся. Можно ли исключить из рассмотрения социализма как исторического явления наименее экстравагантные и наиболее, по замыслам их изобретателей, либеральные варианты социализма? Нельзя, потому что не только крайности социалистических учений и движений надо рассматривать, если мы хотим обнару-

жить достоинства или пороки социализма, как бы страшны и массовы ни были эти крайности. Тупиковость социализма становится наглядной лишь в том случае, если исследователь умеет ясно продемонстрировать порочность его наиболее многообещающих, на первый взгляд, вариантов.

Оставлена И. Шафаревичем вне поля его анализа и самая длительная эпоха в существовании человечества — эпоха первобытно-общинная. Общинная предыстория человечества длилась, по мнению одних исследователей, около миллиона лет, по мнению других (наиболее современных), до трех миллионов лет. Существуют различные ретроспективные модели этой эпохи — от идиллически эгалитарных до стадно-иерархических, с беспощадными лидерами. Но идеализация этой эпохи сыграла огромную роль в построении ряда социалистических концепций. В частности, марксизм постулирует возрождение первобытнокоммунистического единства на новой технологической основе и в масштабах всего человечества. Оставить вне рассмотрения формацию, племенные реликты которой доживают свой век в наши дни, игнорировать социалистические идеализации этого строя при исследовании социализма как явления мировой истории нельзя (тем более — в книге, а не в журнальной статье).

* * *

Пытаясь обобщенно характеризовать столь богатое вариантами и разновидностями учение и движение как социализм, имеет смысл отметить следующую его особенность: все "собственно социализмы" отказываются от "старого мира" и сознательно обосновывают и конструируют новые и "единственно правильные", по убеждению их создателей и сторонников, общественные отношения. При этом, как уже было сказано, цели всех социалистических учений и движений всецело расположены в посястороннем мире.

Кастовые деспотии прошлого, рассмотренные И. Шафаревичем, имеют ряд существенных общих черт с современными социалистическими государствами. Но первые не возникли в качестве сознательных попыток воплощения в жизнь определенной глобально-реконструктивной идеологии. Они имели свои идеологии и своих идеологов (если не все, то многие), но их идеологии вырастают из практики, а не наоборот, как это происходит при

социализме, в котором всегда практика следует (или пытается следовать) за идеологией, вытекает из нее. Скорее всего кастовые деспотии прошлого лишь родственны, а не тождественны социалистическим государствам.

* * *

Из всех родовых признаков, обнаруженных И. Шафаревичем в социализме и социализмоподобных учениях и структурах прошлого и настоящего, единственно универсальным представляется уничтожение частной собственности — как индивидуальной, так и групповой.

Нам могут возразить, что, например, Сен-Симон и Фурье или некоторые современные либеральные социалисты допускают сохранение частной и групповой собственности. Однако в подавляющем большинстве случаев они предусматривают либо ее подчинение (иногда постепенное) всеобъемлющему единому плану, либо ее вытеснение (тоже иногда постепенное) собственностью обобществленной или огосударственной, управляемой также соответственно единому плану, на основании единого критерия целесообразности.

У Сен-Симона над частными собственниками стоят комиссии, вырабатывающие "кодекс чувств", "кодекс интересов" и программу хозяйственной деятельности ("кодекс проектов") для всего общества. Его частная собственность столь же эфемерна, сколь и власть его короля. У Фурье собственникам принадлежат только акции, но капитал эксплуатируется планомерно и коллективно, в масштабах сначала нации, но затем и всего человечества. То же у фурьериста Чернышевского. По Шпенглеру, собственник — лишь доверенное лицо государства, не более. Все мало-мальски известные социалистические учения в конечном счете подчиняют свои якобы суверенные экономические единицы некоей общенациональной, а то и глобальной общественной планомерности*. Правда, некоторые самые современные либеральные социалисты говорят о сосуществовании государственной, суве-

* В нацистской Германии частная собственность тоже пребывала под все усиливающимся протекторатом государственной власти. Опекунство над частной собственностью со стороны партократического государства характерно для всех тех случаев, когда партократия терпит (временно!) такую собственность.

ренной групповой и независимой индивидуальной собственности с перевесом в пользу двух последних форм и с равноправным соревнованием всех трех видов собственности на конкурентном рынке. В таком случае понятие "социализм" наполняется ими не свойственным ему содержанием и перестает чем-либо отличаться от конкурентно-демократической ("капиталистической") экономики. Некоторые литераторы, считающие себя социалистами, но защищающие политическую демократию и хозяйственный плюрализм (разные виды свободной собственности), трактуют социализм как развитие в обществе и государстве различных институтов социальной помощи, как сближение социальных возможностей всех членов общества и т. п. Но и эти процессы и признаки безболезненно сопрягаются с конкурентно-рыночной экономикой. Как правило же, социалисты, пришедшие к власти (даже на время одной каденции между выборами), тяготеют к национализации экономики, к опеке над всеми ее секторами, и чем прочнее их власть, тем более.

Итак, социализм — это стремление или попытка сознательно построить "единственно правильное" (рациональное и справедливое) общество, основанное на всеобъемлюще планомерном управлении его экономикой.

Но в основе любого социалистического мышления (как этического, так и безгосударственно-эгалитарного) лежат ошибки настолько существенные, что они неузнаваемо искажают благой первоначальный замысел при всех попытках воплощения теории в жизнь. Ошибочна надежда организовать общественно-планомерное управление обществом *как единым целым*, не прибегая к всеобъемлющей централизации власти в руках государства. И ошибочна надежда сделать предельно централизованное управление плодотворным, рациональным и эффективным с точки зрения большинства членов общества, а не только самих управляющих.

4. Социализм и иерархия

И. Шафаревич считает одним из признаков социализма уничтожение социальной иерархии. Приведенные им примеры этого правила не подтверждают. Кастовые государства прошлого сугубо и жестко иерархичны. Государство Платона тоже представляет собой твердо зафиксированную иерархию. Европейские

утопии XVI—XVII веков (Мор, Кампанелла, Верас, которых И. Шафаревич обильно цитирует) тоже постулируют четкую иерархию управляющих и управляемых. Все размышления их авторов о равенстве, точнее о почти всеобщей одинаковости членов правильных обществ, относятся к массам, а не к вождям и руководителям. Протосоциалистическая модель Сен-Симона представляет собой централизованную, иерархичную и планомерно управляемую несколькими верховными инстанциями квазимонархию. Более эгалитарна ассоциация Фурье, но и внутри нее существует неравенство в распределении прибыли (пропорциональной вложенному в общее производство капиталу, времени труда и квалификации). В фаланстере имеются и учетно-распределительные инстанции; а в фазе, в которой, по представлению Фурье, сотрудничество охватит всю Землю, появляются и органы глобально-координирующие. Предельно централизовано и иерархично социалистическое государство Шпенглера. Можно, я полагаю, уже не останавливаться на всеобъемлющей иерархичности современных социалистических государств. Отрицают иерархию в своей программе-максимум Маркс и Энгельс, а также некоторые другие теоретики социализма XIX—XX веков. Но отсутствие иерархии свойственно ряду течений только *литературного*, а не реального социализма. Ни в одной из реализаций социализма его не удалось добиться*.

И. Шафаревич и сам иллюстрирует этот факт, наглядно показывая, что государства победившего социализма нашего времени удивительно похожи на кастовые деспотии прошлого и на государства наиболее популярных европейских утопий, в том числе и античной утопии Платона. В чем это сходство? Как правило, в кастовых государствах прошлого нет суверенных от государства слоев и групп, управляющих обществом и его производством, то есть классов рабовладельцев, феодалов, буржуазии в общепринятом смысле этих терминов. В классических кастовых государствах все правящие и управляющие элементы обычно структурированы непосредственно в иерархический государствен-

* В этой связи нельзя ссылаться даже на израильские киббуцы, ибо и они построены иерархически: Правда, состав руководящих инстанций киббуца, выдвинутых из его общей массы, является как бы дежурным и постоянно сменяется новыми выборными. Однако через руководящие посты киббуца проходят не все его члены, а лишь способные справиться с такой работой. И предприятиями киббуца руководят не поочередно все их рабочие, а специалисты, чаще всего нанимаемые на стороне.

ный аппарат. Права государства в них выше прав собственников, деятельность которых регулируется по государственному усмотрению, отчего право собственности превращается, как и в сенсимоновском или в шпенглеровском государстве, в государственное поручение. Обществу противостоит как бы "голое" государство. Все распорядители являются лишь его орудиями. Под этой всепроникающей властью в обществе умирают инициатива, ответственность, гибкость и способность к быстрым и эффективным решениям. В конце концов взявшая на себя слишком большие полномочия и окостеневшая под ними власть слабеет из-за непомерности взваленных на себя задач и падает при толчке извне, усиленном недовольством изнутри. Вместе с властью рушится и вся держава.

Перешагнем через столетия. Авторы протосоциалистических утопий и создатели "научного социализма", возмущенные царящими в обществе несправедливостью и неравенством, тоже исключают из своих моделей справедливого общества все эксплуататорские, то есть управляющие, классы. Но функции этих классов они уничтожить не могут. Управление, отделенное от исполнения, неизбежно существует в нынешнем обществе и скорее всего будет существовать в предвидимом будущем. Неуничтоженные функции уничтоженных классов приходится передать государству, многократно усилив этим его полномочия. Воскресает аналог деспотического "голого" государства прошлого (совокупный монарховладелец, монофеодал, монокапиталист), ибо опять все управляющие силы системы функционально структурированы в государственный аппарат.

5. Почему не хороша для общества внеконкурентная центральная власть?

Включение всего производства и потребления в единый общенациональный план требует всеобъемлющего поля обзора и единства воли. Естественно, что располагающая этими свойствами инстанция должна стоять над всей социальной структурой и иметь широчайшие полномочия. При этом предполагается, что она *может* иметь всеобъемлющее поле обзора и на основании имеющихся у нее сведений способна *вовремя* создавать наилучшие планы, успевая обеспечивать их выполнение. Но что означает в дан-

ном случае “наилучший план”? С чьей точки зрения он наилучший? Не только избиратели, явно того желающие, не могут по *каждому* занимающему их и доступному им вопросу ставить своего депутата в известность о своем мнении по данному предмету, но и депутаты, администраторы, специалисты и функционеры не могут, даже если хотели бы, непрерывно консультироваться с избирателями по ходу своей повседневной деятельности. Объем информации, которая отразила бы критерии и предпочтения всех избирателей хотя бы только по серьезным и внятным им поводам, слишком велик для того, чтобы выборное лицо могло эту информацию получить за приемлемый промежуток времени.

По-видимому, духовная опора масс на патриархов, монархов, аристократию, “авангард” и т. п. есть признание ими невозможности для себя эффективно влиять на власть и одновременно проявление робкой надежды видеть у власти predeterminedных свыше или лучших своих сограждан.

Но могут ли лучшие из лучших сынов народа хорошо управлять, сосредоточив в своих руках *всю* полноту общественной инициативы? Надежны ли с *точки зрения общества* их критерии, представления и знания, ими движущие?

Не могут и ненадежны.

Согласно ряду строго доказанных теорем теории управления “большими системами”, инстанция, которая хочет, стоя над обществом, целенаправленно руководить всеми протекающими в нем существенными процессами (а этого требует единый и всеобъемлющий план), должна в каждый момент времени знать о жизни этого общества *все*, в том числе предусматривать вероятные эволюции всех его состояний данного мига. Исследовав эту практически бесконечную по своему объему информацию (что невозможно), надо успеть превратить ее в команды и коррективы и довести их до ведома управляемых раньше, чем в системе что-то изменится и она фактически уже перейдет в новое состояние, для которого не будут годиться только что выработанные команды. А система изменяется *непрерывно* во всех своих элементах, связях и качествах. Точно так же и для выработки исходных критериев всепроникающего плана надо не только знать о системе *все*, но и перебрать все вероятные ее эволюции для выбора лучшего из возможных направления ее движения. Соответствовать этим требованиям не может никакая посюсто-

ронная инстанция, какой бы техникой она ни была бы вооружена.

Как уже было сказано, единый для всего общества критерий целесообразности и вытекающий из этого критерия всеобъемлющий план — ничто без способности власти подчинить им общество. Однако такая власть в огромном количестве случаев не сможет действовать иначе, как наугад, то есть произвольно. Произвол в командах любой инстанции, претендующей на действительно всеобъемлющую власть над обществом, математически предопределен уже одной только ее недоинформированностью о делах общества, независимо от побуждений этой инстанции.

Если такая верховная инстанция не поспешит отказаться от монокритериальности в решении общих судеб и от всепроникающего характера своей власти, она постепенно сведет свою деятельность к задаче — в первую очередь — своего самосохранения как единственной внеконкурентной силы в системе и неизбежно возьмет на вооружение дезинформацию и насилие. Иначе она долго оставаться у власти не сможет.

6. Заключение

Народы и люди тянутся к социализму не из жажды гибели, а из жажды устойчивости, благополучия и справедливости. Но они так упорно игнорируют тупиковый опыт социализма, что и впрямь может возникнуть впечатление слепого полета бабочек на огонь.

Сегодня наблюдается склонность утверждать, что социализм и коммунизм, марксизм — в частности, нельзя опровергнуть научными средствами.

Эти предметы не относятся однако к числу тех явлений, для анализа коих недостаточно чисто научных методов. Построенные на заблуждениях разума, они с помощью разума же и отвергнуты уже с достаточной научной доказательностью.

Однако И. Шафаревич обоснованно замечает, что хотя все ошибки марксизма (добавим, что не только марксизма) давно разоблачены во многоязычной критической литературе, это пренебрежимо мало влияет на общественные симпатии к социализму. Он делает из этого вывод, что человечество отвергает такие разоблачения из-за все той же владеющей им тяги к погибели.

Но кто их слышит, эти разоблачения? Разве они делаются с учетом массовой психологии и доводятся до массового слуха? Это, за редкими исключениями, элитарная литература, внятная только искусственным читателям. Она пишется в расчете переубедить искренне заблуждающихся сторонников социализма, но читают ее главным образом единомышленники авторов. Сторонники социализма, скользнув по ней неприязненным взглядом, спешат отложить ее в сторону, дабы не нарушать цельности своего настроения, своего оптимизма.

Чаще всего критика социалистической литературы и социалистического опыта представляет собой неостребованную корреспонденцию, уроки, идущие в пустом классе. Художественные же воплощения социализма воспринимаются обычно как модели неудачных экспериментов, а не социализма как такового.

В социализме слиты воедино инстинктивные побуждения и ошибки разума. Он созвучен самым различным душевным движениям людей импульсивных и соблазнителен для чистого рационалиста. Пропаганда социализма, имеющая сегодня мощные централизованные источники, массивна и многообразна. В своих массовых вариантах она эмоциональна, многообещающа и лозунгово упрощена, в элитарных — наукообразна и благородно мотивирована.

Надо окинуть взором усилия затраченные и затрачиваемые, с одной стороны, на пропаганду социализма, с другой — на вручение человечеству более или менее точных знаний о нем, и станет ясно, в чью пользу баланс (и с каким перевесом). Если это соотношение сохранится, то через опыт социализма пройдет, пожалуй, все человечество. Каким оно из него выйдет, если выйдет вообще? Кто возьмется предугадать?

Социализм так же порожден всечеловеческой тягой к справедливому, упорядоченному и безбедному миру, как идея вечного двигателя порождена мечтой о неограниченной даровой энергии. Но вечный двигатель построить нельзя. А социализм? Можно? И да, и нет.

В социалистической литературе бытуют две основные модели "правильного" общества: централистская и эгалитарная — идеальный конус всеблаготворности, всемогущей и всеведущей иерархии и плоскость бесклассовой и безгосударственной уравнительности. Вторая модель характерна (в качестве цели) для "научного" и "конструктивного" социализмов, и вот она-то не менее утопична,

чем вечный двигатель. Первая же типична для большинства утопистов, для Шпенглера, для послереволюционного Ленина и т. д., и она, вообще говоря, поддается структурной реализации. Но беда в том, что возведенные по этим рецептам структуры не обладают предсказанными достоинствами, зато имеют ряд непредугаданных и неустраняемых пороков.

Таким образом, социалисты-уравнители утопичны полностью, а социалисты-государственники утопичны в надеждах, которые они возлагают на свой идеал. Структуру и свойства такого "полного государственного социализма" точно воспроизводят писатели, книги которых принято называть антиутопиями (Замятин, Орвелл, Хаксли, Лем, Бредбери, Азимов, братья Стругацкие и многие другие). Но читатели, незнакомые на опыте с победившим марксистско-ленинским социализмом, склонны отождествлять антиутопии только с нацизмом и фашизмом, упуская чаще всего из виду, что и нацизм (национал-социализм), и фашизм суть тоже разновидности социализма.

Итак, социализм опирается не только на мощные инстинктивные побуждения, преимущественно жизнеутверждающие, но и на грандиозные ошибки разума. Рациональные заблуждения, казалось бы, легче опровергать, чем ошибки инстинктов. (Инстинкты тоже ведь далеко не всегда безошибочны. Вспомните, как перелетные птицы в жажде тепла и света мчатся на стекло маяка и об него расшибаются.) Проще или сложнее становится задача самозащиты общества от социализма в связи с инстинктивно-рационалистической двойственностью утопий-оборотней, я не знаю, но, пытаясь исследовать социализм и ознакомить со своими выводами других людей, с этой двойственностью необходимо считаться. Квазирациональное социалистическое переустройство общества привлекает горячие умы и души еще и своей самоочевидной трудностью, небудничностью своей реконструктивной программы. Задачи упрочения и улучшения демократии представляются максималистам бесцветно паллиативными, тогда как социализм, по их убеждению и ощущению, разрешает противоречия, терзающие всякое общество, радикально и быстро. На самом же деле перманентно возникающая задача совершенствования и укрепления демократии чрезвычайно трудна. Однако она — перманентно же — и *разрешима*, хотя аморальное и слепое общество может ее и не разрешить и зайти в тупик. Задача же социализма в ее положительной, конструктивной части *не разрешима принципиально*.

Сегодня очень популярен лозунг “ни тоталитаризма, ни демократии” — поиски каких-то путей, альтернативных и первому, и второй. Но хорошо бы помнить, что тоталитаризм не оставляет своим рабам ни малейшей возможности легально искать какие-то альтернативные ему пути. Демократия же никогда не закрывает дороги для таких поисков. Она не запрещает своим гражданам выбрать даже... тоталитаризм, как это произошло в Германии и в Чили, где потенциальные диктаторы (Гитлер и Альенде) победили на свободных демократических выборах. Не должны ли уже поэтому все нетупиковые пути развития общества предусматривать сохранение и защиту главного принципа демократии — узаконенного плюрализма критериев, действий, взглядов? Легализовать такой плюрализм очень трудно, а сохранить его, не впад ни в паралич тоталитаризма, ни в саморазрушительную неустойчивость, — еще труднее. Кроме того, у несбыточного социалистического совершенства уйма пророков, пропагандистов и воинов, а у заведомо неидеальной демократии мало защитников и несметное множество яростных обличителей, которым не угрожает практически ничего, — даже публичная отповедь, внятная слуху большинства сограждан. Между тем движение в пропасть, в тупик (чем является впадение в “зрелый” социализм) требует куда меньших затрат энергии, чем достижение и оптимизация демократии.

Сегодня баланс неутешителен. Но даны же нам для чего-то Совесть, Разум и Выбор?..

Д. Штурман — советолог, публицист, автор книг “Наш новый мир”, “Мертвый хватает живого” и многочисленных статей в эмигрантской печати. Живет и работает в Иерусалиме.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Редакция приносит глубокие извинения г-ну Н. Шерману, чьи фотографии были опубликованы в № 29 с произвольно придуманными (выпускающими лицами) подписями и в искаженной (без ведома автора) композиции. Редакция намерена в ближайшее время опубликовать подборку работ г-на Шермана, составленную им самим.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИП НОМО SOVETICUS

Когда мыслители XX века, вооружившись гуссерлевским методом видения сущностей, пытались проникнуть в вечную природу человеческого существования, пытались выяснить, что есть человек в самых основах своего бытия (или — каким способом есть, существует человек), то какую цель они, собственно, преследовали? Выяснить, что он есть на самом деле, и память о чем он утратил, и к чему нужно его вернуть, показав ему это “что”? Или же выяснить, чем он стал, в смысле — до чего он опустился, и освободить его от этого “что”, вернуть его к самому себе? Или же оба эти движения присутствуют, но есть одно и то же, и мы одновременно усматриваем и то и другое, то есть то, чем человек стал фактически, но что само по себе не лежит на поверхности и от чего он должен отпрянуть, когда поймет это, и — вместе с тем — то, чем человек является по сути, но что он предал забвению?

Я хочу обратить здесь внимание на то, что первая задача обращается к анализу фактического, требует знания эмпирического и конкретного. Ее решения поэтому могут различаться в зависимости от изучаемого человека — по эпохам, странам, социальным слоям, индивидуальностям. И при этом решение отнюдь не лежит на поверхности, но требует сущностного осмысления и угадывания затаенных движений и умения реконструировать скрытую цельность. Насколько априорен путь решения второй задачи, я не берусь судить. Но, как кажется, два больших мыслителя бравшихся за нее: Хейдеггер в “*Sein und Zeit*”, и Сартр в “*Retreer le neant*”, — пришли к разным картинам, каждая из которых определяется некоторой мифической конкретностью: у Хейдеггера — древнегерманским мифом верности и мужества перед смертью, у Сартра — мифом современного человека, отчаявшегося в любой ценности и искреннего атеиста.

Предлагаемое эссе откровенно посвящает себя первой задаче и притом в очень конкретном приложении. Оно родилось из некоторого личного опыта и было задумано как некоторое предварительное исследование к теме совершенно конкретной — каким

образом коммунистическая власть в Советском Союзе может поддерживать в народе необходимые режиму представления о действительности, несмотря на явную абсурдность (то есть внутреннюю противоречивость и несоответствие наблюдаемым фактам) состава пропаганды? У меня накопился довольно значительный опыт обсуждения социальных тем с различными людьми, и постепенно я начал понимать, что в душе среднего homo soveticus (а он и будет объектом исследования) имеется некоторая устойчивая структура, дающая дорациональный фундамент миропониманию, легко впитывающему в себя любое предлагаемое пропагандой содержание. Внешне эта структура прощупывается, когда пытаешься поставить обсуждение на рационально-эмпирическую основу, — наталкиваешься на некоторую стенку, от которой все аргументы отскакивают. Структура эта характера мифического. В ней концентрированно собраны представления, которые я разбираю ниже, причем некоторые из них могут проявляться на уровне сознания, другие же уходят в подсознательное бытие и являются подлинными подземными корнями структуры. В целом структура эта как раз и является ответом на вопрос, что есть homo soveticus. Она может быть названа **конкретным массовым экзистенциальным типом**.

В таком типе экзистенциальные глубинные возможности человека уже получили некоторую реализацию, они уже **решены**, а именно — предыдущим историческим движением. Это решение осуществляется воплощением некоторого принимаемого мифа. В результате этого воплощения сама экзистенциальная глубина, во тьме которой смутно угадываются такие крайние человеческие проблемы, как смерть, Бог, добро и зло, свобода, начинают ощущаться как бессмысленный хаос. Воплощенный миф становится главным оплотом, основной координатной системой для ориентации в мире и жизни. Он сам, конечно, является решением крайних проблем существования; но в некоторых случаях (в том числе в исследуемом) это решение является **отрицанием** этих проблем, отбрасыванием их в хаос экзистенции. Экзистенциальные массовые типы поэтому имеют некоторую градацию — по степени положительной решенности в них крайних проблем. С этой точки зрения допустимы сравнение и оценка различных экзистенциальных типов.

Впрочем, все это — предвосхищения конкретного и лучше перейти к делу. Еще раз: мы прощупываем подсознательную экзистенциальную глубину массового homo soveticus до той степени, пока можно еще осязать некоторую конкретную историческую структуру, но не пытаемся идти до универсальной общечеловеческой экзистенции; если она и будет появляться, то как направле-

ние в хаосе глубины. Напоминаю, что эссе разворачивается вокруг конкретного вопроса и не пытается дать полную картину основной мифической структуры целиком.

ЛИЦА МИФА

Миф власти. Власть ощущается как грозное всемогущее начало, правое в силу своего всемогущества, ничем не ограниченное, жестокое и безжалостное. Отношение подвластного к власти – это отношение полного подчинения и полного бессилия. Начала, независимого от власти и способного эту власть как-то ограничивать, просто не существует. Единственным личным способом воздействия на власть является мольба, и этому соответствует надежда, что где-то в сердцевине власти есть некто, способный эту мольбу услышать.

Это ощущение власти можно было бы назвать сверхъестественным. Оно родственно тому отблеску сверхъестественности, в котором воспринимались в древности космические явления, не подвластные человеческой воле. Эта сверхъестественность – не более чем априорность власти, ее данность, не подлежащая отмене или изменению. Фоном для нее служит естественность человеческого, которое возникает трудом и соглашениями людей.*

Миф власти родственен первобытному ощущению сил природы как надчеловеческих сил. Власть не умеряется своей погруженностью в сферу закона, имеющего свой собственный источник в личном или неличном божестве.

Здесь уместно провести сравнение между рассматриваемым “мифом власти” и властью в рамках “мифа закона”, свойственного европейской традиции. Два основных источника концепции права: древнеримская общая воля и древнегерманская личная верность – оба были наполнены священным содержанием и обращались к личности. Власть, поставленная в такой контекст, поневоле должна была восприниматься как власть ограниченная.

В рассматриваемом мифе место закона до какой-то степени занимает справедливость. Позднее мы основательно рассмотрим,

* Впрочем, слово “естественное” может привести к двусмысленности. Очерченное ощущение власти можно назвать и естественным, но тогда фоном для нее будет служить культура, а она сама уподобится внечеловеческой природе.

откуда она возникает. Сейчас достаточно указать, что по своему содержанию справедливость — как стремление к выравниванию, к оглядке на другого -- имманентна жизни и не имеет трансцендентной опоры.

* * *

В сходном соотношении с властью находятся внутри мифа истина и добро. Истина, как и право, не имеет сакральных корней. Поэтому к ней нет личного отношения как к чему-то святому самому по себе. Она важна лишь постольку, поскольку связана с жизненными интересами. Одно направление этих интересов — непосредственная материальная жизнь. Здесь знание, где и что следует ожидать, прагматически необходимо, и истина навязывается естественно. Другое направление — безопасность по отношению к власти. А эта безопасность диктует принятия, как истины, всего, исходящего от власти. Это, конечно, окрашивает инфантильностью психологию массового *homo soveticus*, с детской доверчивостью воспринимающего слово, исходящее от власти. Позднее мы рассмотрим эту инфантильность более развернуто.

Добро, однако, сохраняет какие-то слабые сакральные корни, хотя только в сфере повседневного общежития; оно не смеет подняться до независимой моральной оценки власти. Здесь нормами являются опять же нормы, самой властью диктуемые или же вычитываемые из способа ее поведения, то есть нормы силы и коварства.

Поэтому и относительно истины и относительно добра в базирующейся на мифе психологии советского человека налицо всегдашнее противоречие между тем, что относится к частному и практическому, и теми началами, которые он осмеливается применять для понимания и оценки самой власти.

* * *

Очерченный нами миф власти в основном скрыт от сознания человека. Он погружен в подсознательное, стал бытием *homo soveticus*. Советский человек не будет описывать власть в терминах надчеловечности, жестокости и баззаконности. Но он ведет себя так, как если бы знал это. Серьезная оппозиция власти — даже по самым насущным вопросам его жизни — для него немыслима, хотя он редко будет оправдывать себя возможными последствиями такой оппозиции. Она для него так же абсурдна, как оппозиция стихийным бедствиям. Власть принимают со всеми ее последствиями. Вот пример — довольно известный ученый-математик рисует должное отношение к власти следующими словами: "Это как в альпинистском походе. Вы выбрали вожака и теперь нечего

делать, кроме как повиноваться ему, хотя бы он и ошибался". (Честно говоря, трудно вспомнить, когда были эти выборы, а потом, когда же кончится этот альпинистский поход?)

* * *

Подсознательному мифу власти часто соответствует в душе человека некий комплекс норм, который можно выразить примерно такими словами: "Я бы не стал церемониться (речь идет обычно об устранении каких-нибудь действительных или предполагаемых недостатков). Таких нужно расстреливать, не разговаривая (это из конкретного разговора о взрыве в московском метро; говорящий — вполне квалифицированный специалист по программированию; впрочем, эта реплика повторяется во множестве самых разнообразных разговоров — о валютчиках, абстрактных художниках, взяточниках, А. Д. Сахарове и т. д.)". Этого же рода тоска по Сталину и по порядку, который был при Сталине.

Неудивительна поэтому простота перехода от положения подвластного к положению властвующего. У подвластного такие же представления о власти, а в настоящее время так даже более крайние, чем у властителей. Если страх перед властью, которая все может, скрывается от себя, то сознание заполнено представлением о власти, осуществляющей крайними способами нужный порядок. Но здесь реальная власть выступает уже в новом, более широком контексте, в котором она находит свою легитимацию — в контексте мифа "Мы".

* * *

Миф "Мы". Власть в рамках мифа внушает подсознательный ужас. Чтобы уйти от этого ужаса, чтобы забыть свое индивидуальное противостояние власти, а равно истине, добру и праву, человек уходит в новый миф — "Мы".

Конечно, структура "Мы" свойственна всякому национальному и государственному мышлению. "Мы" homo soveticus, однако, отличается многими характерными особенностями.

Прежде всего, это "Мы" в высшей степени изменчиво по своему охвату. В зависимости от ситуации оно способно то достигать охвата всей коммунистической империи со включением вассальных государств, то сужаться до узко-русского значения. Наиболее

устойчивой является середина: "Мы" — это советское государство в противопоставлении всему остальному.

Конкретно объем "Мы" зависит от текущих дел. Когда Китай вступает в Северную Корею, чтобы остановить войска ООН, то действует "Мы" всей социалистической системы. Когда войска Варшавского пакта оккупируют Чехословакию, то ее население — это "Они", а "Мы" — все остальные. Когда подавляются волнения в Прибалтике, то "Мы" — остающееся население Советского Союза. Русские же в Средней Азии, ощущая себя носителями какого-то порядка на фоне своего обычного коренного населения, ограничивают "Мы" собою, то есть русскими вообще.

Все-таки центральное значение "Мы", как я уже сказал, — это коммунистическая государственность, тотальная имперская власть. Сейчас она несомна в основном русскими (или, может быть, вообще восточными славянами), но в принципе имеет наднациональный смысл. Поэтому с этим "Мы" могут отождествляться и люди других национальностей.

Далее, бегство от власти в миф "Мы" является для homo soveticus способом очеловечивания и приближения к себе этой власти. Ибо происходит фундаментальное отождествление "Мы" и власти: "Мы" народное как бы переливается в "Мы" государственное, и таким образом происходит примерение в мифе личности и власти, примирение, которое было бы невозможным внутри одного чисто-го мифа власти. Оба — власть и личность — получают от этого большую пользу.*

Власть находит в "Мы" основу своей легитимности — как представитель "Мы" и как регулятор справедливости, этому "Мы" имманентной. Личность же со своей стороны через посредство "Мы" может передоверить государству понимание добра и истины, так как государство связано теперь с "Мы" интимными нитями. Невыносимость конфликта совести и власти в чистом мифе "вла-

* По внешнему рисунку бегство личности в "Мы" напоминает отношения DASEIN и MAN ("здесь-бытие" и неопределенно личное "некто" — подлежащее предложений типа "Говорят,...", "Считают,..."), описываемое Хейдеггером в "Sein und Zeit". Хейдеггер, однако пытается вскрыть априорно-универсальную экзистенциальную структуру, и в его картине бегство в MAN — это бегство от Смерти. Здесь же все происходит на более поверхностном, но более увязанном с конкретной историей уровне. Бегство в советское "Мы" — это бегство от безжалостной власти; "Мы" в суррогатной форме возвращает жизни смысл, дает примирение с властью. Отсюда — особенная интенсивность этого "Мы" по сравнению с MAN западного общества.

сти" умеряется теперь тем, что совесть переходит от личности к "Мы" и далее — к самой власти. "Мы" помогает здесь тому, что личность не в состоянии была бы сделать в одиноком противостоянии, не разрушаясь, как личность, — сдаче перед лицом власти. Как компенсацию, личность получает во власти — сердцевине и олицетворении "Мы" — некое мерило смысла. Успехи власти становятся "нашими" успехами. Неудачи власти — "нашими" неудачами.

Миф "Они". Становление "Мы" является одновременно становлением "Они". Мир расщепляется. "Они" — это те, кто не попадает в "Мы". Как уже было отмечено, граница, охватывающая "Мы", очень подвижна. Поэтому подвижен и объем охвата "Они".

Существенным является то, что "Они" ощущается изначально как нечто враждебное. Миф *homo soveticus* не признает середины. Почему собственно это происходит?

Если выявить внутреннюю логику мифа, то ответ заключается в следующем: сдача личных позиций перед властью путем самовключения в "Мы" приводит к ненависти ко всему, что сохранило свою самостоятельность перед "Мы" и властью. На "Они" переносится недовольство самим собою, своим собственным падением. Неучастие в этом падении представляется враждебным поведением.

При этом на "Они" проецируются все характеристики власти, загнанные в подсознание и утаиваемые от себя. "Они" предстают сознанию как стоящие вне всякой сдерживающей моральной, правовой или религиозной силы, безжалостными, коварными, чуждыми понимания.

Заметим, что отсюда и разворачивается собственная жестокость в случаях подлинного конфликта.

ЦЕННОСТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Хотя я уже кратко касался того, какими становятся представления об истине, добре, праве и справедливости в контексте мифа *homo soveticus*, имеет смысл вернуться к этой теме более подробно после того, как обрисованы в общих чертах основные лица этого мифа.

Религиозное. Власть по своей мифической сущности подавляет и исключает все сакральное и благодатное. Внутренняя потребность человека в ре-

лигии сокрушается в плане личном и в суррогатной форме воскрешается в плане "Мы".

В плане личном у человека нет сакрального утешения, сакральной поддержки — устойчивого календаря святых праздников, посещения церкви, очищающих обрядов. Состояние скрытого отчаяния заменяет этот календарь новым календарем разгула, загула и забвения (совсем неважно, используются ли при этом старые праздники — они ведь меняют свой смысл — или новые, государственные). Вместо регулярного возвращения к ритуальным основам жизни — хмельное стряхивание с себя дневной заботы и бегство от внутренней неустойчивости. Неудовлетворенность этим вывернутым календарем, давление пустоты, занявшей место священного, выражается в нивелирующем все и вся кощунственном цинизме (пьяный и непьяный мат), космическом аспекте справедливости (о котором еще речь впереди), уравнивании всего и каждого в грязи "телесно-чувственного низа" (Бахтин).

В плане суррогатном *sumptum bonum* (высшее благо религии) трансформируется в благо "Мы", точнее в опереживание успехов "Мы". Поскольку в конечном счете "Мы" отождествляется с властью, то эти успехи обычно имеют внешний экстенсивный характер — географическое распространение власти, военные победы, показательные успехи (спортивные, космические). Так компенсируется в конечном счете отказ от личности перед лицом власти и ее растворение в "Мы".

Право и справедливость. Как уже указывалось, закон, право несовместимы с миром власти — для них отсутствует независимая сакральная основа, ибо такая основа противопоставляла бы их власти (как происходило например в странах ислама, где право шариата опиралось на религию и противовес произволу монархов). Homo soveticus ищет защиту от власти и одновременно соединения с властью не в праве, а в "Мы". И тут возникает справедливость как имманентный "Мы" принцип уравнивания. Вхождение в "Мы" рождает чувство равной ответственности. Внутри "Мы" ничто не должно выделяться. Этим равенством личность компенсирует себя за сдачу перед властью. Другая форма компенсации — участие в коллективной "соборной" силе. Эта-то сила и должна гарантировать справедливость. А поскольку "Мы" тяготеет к отождествлению с властью, то в конечном счете власть становится искомым гарантом. Фактически возможен раскол власти и справедливости (в советской истории это, правда, еще не случилось). Тогда сила "Мы" может обратиться против власти несправедливой, ища власть справедливую. Нормой, однако, является гармония "Мы", власти и справедливости, а конкретные случаи несправедливости приписываются частной злой воле.

Этическое. Говоря эмпирически и массово, этическое в жизни человека имеет своим происхождением либо сознание долга и достоинства, либо непосредственное чувство, причем и то и другое несомы массовой психологией и массовый человек черпает их из нее. Первое начало (долг и достоинство) родственны праву и поэтому в мифе homo soveticus также лишены священной, независимой от власти опоры, как и право. Долг превращается

в единственный долг — повиноваться власти, как это делают все, от достоинства же личность отрекается, уходя в “Мы”. Что такое конкретный долг, конкретные обязанности, все это узнается из повелений власти и формируется властью.

Чувство возникает спонтанно. Однако, в зарождении его все же участвует один мифический и как бы сакральный момент — ощущение товарищества или родства. В принципе как раз этот момент — момент конкретного и близкого “мы”, если сопоставить его с обширным “Мы” мифа — и является тем ростком, из которого “Мы” вырастает под воздействием страха власти. В своей зародышевой основе “мы” товарищеское остается местом, где культивируются чувства сердечности, благожелательности и доброты, где развивается тот минимум этики, без которого невозможно общежитие вообще. И если этот цветок не попадает под идущий от власти холодный ветер “долга”, то он способен приносить вполне добротные плоды. В конфликте же между товарищеским чувством и “долгом” последний обычно побеждает, поскольку следование чувству оставляет homo soveticus в совершенно невыносимой для него ситуации противостояния с властью один на один.

Истина. Эта тема уже обсуждалась. Отмечу в дополнение некоторый параллелизм этики и отношения к истине. Там, где истина касается близкого, повседневных дел, она принимается (здесь она аналогична этике непосредственного общения). Там, где истина обращена к дальнему — к цельному пониманию мира, к положению далеких стран, даже к какому-то широкому охвату положения внутри страны, там она родственна долгу (более того, требует от человека признание долга перед истиной, **воли к истине**). А здесь нет нужного сакрального начала, и место истины занимают навязываемые властью представления, подкрепленные массовыми мифами “Мы”. Инфантильность homo soveticus — инфантильность массовая, коллективная; мышление приобретает здесь форму игры мифическими понятиями, игры, управляемой в конечном счете подсознательным страхом перед властью.

Я процитирую здесь один полупьяный монолог довольно типичного homo soveticus, где после долгих разговоров о вечной нехватке продуктов и о несправедливости кастовых привилегий (дачи, спецснабжение) при переключении темы последовало горестное: “А вот Португалию мы проморгали” (дело было в 1977 году) — очень характерное сочетание понимания проблем, бьющих в лицо, с общей инфантильной картиной мира. Ну, зачем ему понадобилось, чтобы в Португалии исчезли товары и образовалась каста партийных и государственных чиновников?!

Историческая перспектива. Задавшись вопросом об исторических корнях homo soveticus, естественно сравнить обрисованный выше его экзистенциальный тип с экзистенциальным типом русского православного человека.

Сразу отметим, что наличие православия дает мифической картине новое измерение — по крайней мере, в отношении высшего блага и в отношении деятельного добра.

Сυμπιπν βοπιπ православия тоже во многом соотнесен с “Мы” в его различных формах (вселенская церковь или русский православный народ). Однако, важен и личный аспект — непосредственное предстояние Богу. Частичное “обожение” (теосис), проявление божественных энергий в литургии, в иконописи, в таинствах создают ритм, в котором обыденная жизнь перемежается с приобщением к святости. Эти моменты приобщения несколько разрознены и все же от них исходит излучение на всю жизнь человека.

Что касается второго отмеченного момента, то православие ставит во главу этики любовь и жалость (не долг). Они образуют центр самой православной личности, распространяются на всю ее жизнь; действия личности, ее общение с другими приобретают добрый и сердечный характер, независимый от начал “Мы” и власти. Можно было бы сказать, что этика любви служит в православии заменой этики долга, но это было бы упрощением — и в западном христианстве есть учение о любви, и в восточном не исчезло понятие долга, а лишь только слабее чувствуется его сакральность. И. Киреевский, например, осуждал систему западного права и государственно-сословных отношений именно потому, что они основаны на **произвольных соглашениях**. Здесь упускалось главное — то, что сами эти соглашения, как взаимное обязательство, выходит из чисто житейского контекста и относятся к области сакрального. То, что русский православный человек в его идеале был более склонен к любви, нежели к долгу, имело роковые последствия и для него, и для всего мира, как бы ни привлекательно было это обстоятельство само по себе, придавая русским обаяние задушевности, простоты и открытости.

* * *

Основные компоненты мифа русского православного человека параллельны компонентам мифа homo soveticus, но имеют своеобразную окраску.

Власть для православного сознания освящалась божественной предназначенностью. Этим умерялась надчеловечность власти; с властью связывалось более непосредственно (то есть не только через посредство “Мы”) ожидание добра и справедливости. И тем не менее — несмотря на постепенную гуманизацию самодержавия — власть сохраняла аспект надчеловечности. Просто священный характер власти оттеснял эту надчеловечность на второй план, а средоточие власти — царь — представлялся естественным богоданным правителем-охранителем правды. Эта правда обнимала имманентную “Мы” справедливость и блюдение обычая, и то, что следовало из заповедей любви и милосердия.

Миф "Мы" тоже существовал, но на более сложной основе. На первом плане действовала христианская соборность, сопринадлежность к православной церкви с пафосом сознания святости этой церкви, что было даже зафиксировано в символе веры. Момент ухода в "Мы" от надчеловечности власти тоже наличествовал, только эта драма ухода разыгрывалась в атмосфере православия, поэтому круг бегства от власти и возврата к ней был как бы уже, он стягивался единством веры, подсознательный образ власти надчеловеческой смягчался образом власти милостивой и справедливой, завершавшей собою "Мы". И еще, должно быть, действовало доправославное русское (если вообще не праславянское) "Мы" — склонность к коллективной жизни на фоне враждебного природного и этнического окружения. Как и в "Мы" homo soveticus, здесь осуществлялось примирение с властью, но не только это: православное "Мы" было одним из путей личного обожения, воссоединения с правдой. Наконец, "Мы" русского православного человека постепенно приобретало и черты национализма, отождествлялось с русским народом как носителем имперской власти, покоряющей иноверные и освобождающей другие православные народы. И соответственно мифу "Мы" существовал параллельно ему миф "Они", включая в себя временами все неправославное, временами все, выпадавшее из империи, временами наконец, все нерусское*.

Конечно, при этом все время происходило некоторое развитие. Появление сословий с известными правами, просвещенная деятельность монархии, освобождение крестьян, развитие культуры — все это давало надежду на постепенное перерождение основного экзистенциального типа, надежду, которой, к сожалению, не суждено было сбыться.

* * *

Сопоставление друг с другом обоих экзистенциальных типов показывает следующее. Из православно-русского образа мира

* Пара "Мы" — "Они" допускала дальнейшее развитие. Хотя русская концепция православия и была довольно консервативной, но христианская любовь с ее универсальным содержанием носила в себе возможность преодоления границ и распространения за пределы православного русского человека, превращаясь в основу для понимания и приятия общечеловеческого (такое просветление православия действительно имело место, например у Сергея Булгакова, но только тогда, когда история русского православного экзистенциального типа была уже насильственно прервана).

изъят его смысловой центр — православие; его место узурпировал теперь миф власти. Сам этот миф потерял религиозную окраску; власть приобрела преимущественно надчеловеческий, жестокий, самодовлеющий характер без какой-либо трансцендентной основы. “Мы”, скрепленное ранее связью православной соборности, теперь этой связи лишилось и держится бегством от власти, защитой от власти и восстановлением связи с властью посредством отождествления себя с ней. “Они” также потеряли преимущественно неправославный характер, теперь это — просто все, оставшееся за пределами “Мы”. Если и ранее право, этика долга и истина не имели какой-либо сакральной опоры, то это все же несколько восполнялось этикой христианской любви и святостью традиции. Теперь же традиция вообще утратила священный смысл, а этика ближнего сохраняется только как остаток сакральности, близкий к началам “Мы”. Исчезла личная и соборная приобщенность к высшему благу, на ее месте — либо опьянение успехами “Мы” (то есть, в конечном счете — успехами власти), либо опьянение кощунством и алкоголем.

Эти изменения — результат страшного удара, обрушившегося на русский народ, удара, сокрушившего религию и вырвавшего религиозную сердцевину святости из основного мифического образа, удара, нанесенного фанатичной и не знающей предела в своей жестокости властью, удара, после которого основной проблемой русского человека (собственно уже ставшего *homo soveticus*) перестала быть проблема религиозная и стала проблема отношения к этой власти.*

Заметим наконец, что при всей описанной трансформации мифической картины инвариантными остались коллективизм и отсутствие независимых начал для норм долга и истины. Я не буду здесь обсуждать, можно ли эти инварианты считать специфическими особенностями национально-русского или христианско-

* Исторически эволюция экзистенциального типа была не моментальным превращением, а довольно сложным процессом, детали которого придется опустить. Важную промежуточную роль сыграл суррогат веры — страстная проповедь коммунистического царства, экзальтированное обожествление власти. Внешне этот суррогат сохранился и сейчас, однако роль его изменилась. Из него ушла прежняя сила, и он переместился из центра основной мифической картины на периферию представлений *homo soveticus* о мире. Там он держится как “истина, идущая от власти” (и играет все-таки важную роль, заслоняя собою подлинную и тревожную тему — куда, собственно, идет общество), но утратив былую страсть, перестав быть одной из компонент мифа, определявшего все существование человека.

православного типа. Это потребовало бы больших исторических исследований, которые не входят здесь в нашу задачу.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ

Очерченный тип homo soveticus экзистенциален в том смысле, что он является результатом некоторых первичных решений по основным вопросам существования, актов самоотдачи и вкладывания себя в основные мифы, реализацией и конкретизацией потенций существования. На основе этого первичного решения развертываются дальнейшие возможности пониманий и действий.

Несмотря на искушение отождествлять этот тип с национально-русским, приходится все же провести между ними некоторую границу. Национальный тип более связан с невыразимым и неперевожимым способом видения мира (я писал об этом в эссе "Нация и национализм"), он сам более конкретен и материален, проявляется в системах национальных характеров и обычаев и — как скрытая сила — в национальной культуре. В национальном типе содержатся несводимые ценности особенного отношения к миру, **наследственное достояние человека**; он принимается по традиции, по воспитанию, по вырастанию внутри и на основе национальной среды. Поэтому он в меньшей степени связан с решением, с самоопределением и является непереносимым с одного народа на другой. Он дает только основу, на которой тем или другим историческим движением могут развиваться разные экзистенциальные типы, возможно — и не один одновременно.

В противоположность типам национальным (в том числе русскому) тип экзистенциальный связан с судьбой и выбором и не ограничен национальными рамками. Он способен переноситься от одного народа к другому и от одной социальной страты к другой, приобретая при этом разные окраски в зависимости от контекста, но сохраняя тождество основных мифов и основных решений.

Религиозный тип (а именно религиозный тип, формируемый великой религией) является экзистенциальным в том смысле, что он тоже представляет собою результат кардинальных решений. Поэтому он также способен к распространению, в известном смысле даже более свободному, чем тип homo soveticus, поскольку это распространение меньше зависит от внешней истории. Не говоря

уже о том, что любой религиозный тип **глубже** типа homo soveticus, поскольку кардинальные решения принимаются по таким вопросам как смерть, бессмертие, грех, Бог, долг, любовь – вопросам, заслоненным в типе homo soveticus единственным кардинальным вопросом отношения к власти. Религиозный тип несет наконец внутри себя некую универсальную непере译водимую **конкретность традиции** (что роднит его с типами национальными), для которой в типе homo soveticus не существует аналога.

* * *

Последнее сравнение выявляет тип homo soveticus как тип мифического сознания, полностью игнорирующего глубинные экзистенциальные вопросы и проблемы. Для homo soveticus все эти вопросы оттеснены и заслонены одной единственной темой – темой бегства от власти в коллектив “Мы”. Эта тема и ее основной мотив – страх власти – держит homo soveticus на поверхности существования, мешает осознанию им глубины. Это-то и является подлинной причиной инфантилизма homo soveticus, его незрелости, ребячливости в восприятии действительности, легковёрности, безответственности. Несомненно, этот инфантилизм в какой-то мере является наследием крестьянски-примитивной психологии русского человека. Однако, в целом он вторичен, вырастает на месте более развитых, но уничтоженных православных представлений, которым были свойственны большие зрелость и глубина.

Поэтому инфантильность homo soveticus – не невинная простота детства. Глубинные темы вытеснены и преданы забвению, но бывают ситуации, когда их тайное знание все же находит себе внешнее проявление.

Когда с homo soveticus ведешь разговор не на привычном ему языке, когда апеллируешь к его разуму, совести и пытаешься перешагнуть через мифический образ мира, то чувствуешь, как им овладевают растерянность и озлобление. Он не хочет быть вырванным из убежища “Мы”, страшится остаться наедине с фундаментальными вопросами. То есть он втайне знает об их существовании (как знает о жестокости власти), но предпочитает не знать этого. Это-то тайное знание и проявляется, может быть, в кощунстве по отношению к святости в мире, в самоопьянении и самозабвении, которые, как я уже упоминал, занимают место религиозного начала.

Поэтому homo soveticus труднее услышать голос серьезных тем, чем человеку, инфантильному первично. Последний способен воспринять эти темы, как нечто важное и значительное, как расширение его наивного круга представлений. Homo soveticus же втайне знает об их существовании, но в нем есть жестокая тайная решимость удержаться в пределах своей вторичной

инфантильности, решимость, связанная со страхом перед властью и страхом оказаться вне защиты "Мы".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описанный экзистенциальный тип является типом, преобладающим в советском обществе, хотя, конечно, не универсальным. Но именно благодаря ему держится партократический режим с его разветвленной машиной насилия, страха и лжи. Благодаря распространению типа homo soveticus удельный вес насилия смог даже резко сократиться, насилие перестало даже быть орудием первой необходимости. Теперь этот тип является основой, на которой в результате совместного действия жизненного опыта и пропагандного потока вырастает картина мировоззрения советского человека с ее алогическим сочетанием знания близких прагматических истин и фантастических представлений о дальних вещах. Экзистенциальное отождествление с властью превращается в этой картине в "разумную" лояльность, гарантирующую партократию (до известных пределов, конечно) от внутренних потрясений и дающую ей массовую поддержку в необходимых случаях.

Вадим Янков (р. 1935) — инженер-математик, автор ряда социологических работ, опубликованных в Самиздате и "Континенте"; за "Открытое письмо русским рабочим" (1981 г.), посвященное польским событиям, арестован и в 1982 г. осужден на 12 лет лагерей и ссылок. Публикуемая статья прибыла по каналам Самиздата и печатается без ведома автора.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

НОВАЯ КНИГА

Александр и Лев Шаргородские. Факультет фаршированной рыбы
250 стр. (ориент.) Цена 10 долларов

Сборник рассказов и повестей известных авторов полон юмора и скрытой печали. Читатели обычно хохочут, читая рассказы Шаргородских, но почему-то вспоминают о них с грустью. Наверно, судьба эмигрантов из СССР на Западе не так уж радостна. Но авторы всегда видят, когда она смешна.

КУЛЬТУРА

В конце мая этого года в Милане состоялась созданная журналом "Континент" конференция по проблемам культуры, на которой присутствовали ведущие авторы русской эмиграции и представители многих журналов ("22" был представлен членом редколлегии Ниной Воронель). Мы предлагаем вниманию читателя некоторые из докладов конференции, любезно предоставленные журналу их авторами.

Игорь Ефимов

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ ОБЩЕСТВА И РАСЦВЕТ КУЛЬТУРЫ: ЧТО РАНЬШЕ?

Игорь Ефимов — писатель и руководитель издательства "Эрмитаж" (США), автор философско-социологических книг "Без буржуев" и "Мета-политика", ряда повестей и рассказов, а также широко известного романа "Архивы страшного суда" (1982)

Когда нацисты пришли к власти в Германии в 1938 году, им далеко не сразу удалось перекрыть все каналы, по которым информация о жизни в стране поступала за границу. Поэтому о начавшемся терроре, о стремительном наращивании военной мощи, о расовом геноциде мир узнал довольно рано. И тем не менее в Европе и Америке десятки миллионов людей не хотели верить ни сообщениям журналистов, ни рассказам беженцев-очевидцев (даже тем, кто побывал уже в концлагерях). Очень часто логика этого недоверия выстраивалась на одном единственном аргументе: немцы — культурная нация, они не могут быть замешаны в таком кровавом разгуле беззакония и жестокости. Не могли культурные немцы допустить к власти людей, которые борются с идейными противниками при помощи кастетов и пулеметов, жгут книги и объявляют вне закона лояльных граждан только за их расовое происхождение. Даже киевские евреи накануне дня Бабьего Яра продолжали утешать себя разговорами о немецкой культуре, о Бахе, Гете, Бетховене, Канте, Шиллере.

В этом живучем заблуждении отражен один из самых распространенных мифов массового сознания. Перефразируя пушкинского Моцарта, миф можно сформулировать так: “культура и злодейство — две вещи несовместимые”.

На первый взгляд может показаться, что мировая история дает множество подтверждений такому взгляду. Очень часто расцвет культуры в каком-то государстве совпадает с развитием принципов свободы и законности в обществе. Но при более внимательном всматривании в исторические реалии начинаешь замечать множество несоответствий.

В Древнем Риме расцвет культуры приходится на двухсотлетие, обрамляющее дату Рождества Христова. Но именно эти два века наполнены жесточайшими междоусобицами, расцветом рабства, крушением демократии и установлением империи, террором Суллы, Калигулы, Нерона, Домициана. Наоборот, самый плодотворный период гражданского и политического строительства общества (367 г. до н. э. — 241 г. до н. э.), когда были выработаны и испытаны на деле принципы демократического правления, когда рабство было практически сведено на нет, когда ни один политический спор не завершался кровопролитием, — этот период не отмечен ни одним заметным именем в литературе и искусстве.

Как блистательны первые десятилетия XVII века в истории испанской культуры! Сервантес, Лопе де Вега, Кальдерон, Тирсо де Молина, Веласкес, Рибера, Эль-Греко... И мало кто уже может разглядеть за блеском творений этих художников, как истерзана была страна. Как пылали костры инквизиции. До какой нищеты и голода был доведен народ. Как в один месяц королевским указом был изгнан из государства и практически уничтожен трудолюбивый полуторамиллионный народ морисков (1609 г.).

Франция эпохи Людовика XIV. Для многих это Мольер, Паскаль, Ларошфуко, Лафонтен, Версальские дворцы и парки. А отмена Нантского эдикта в 1685 году? Люди даже не помнят, что это такое, потому что ни Дюма, ни Гюго, ни Стендаль не описали эту страшную пору в своих романах. По свидетельству же герцога Сен-Симона террор против гугенотов начался такой, что страна потеряла перебитыми, уморенными голодом на галерах и в рудниках, разбежавшимися за границу чуть не четверть населения.

И наоборот: каких американских писателей, ученых или художников можем мы назвать в XVIII веке? Почти ни одного. Какой же духовной пищей питались люди, создавшие в 1776 году самую

мощную и устойчивую демократию, выработавшие принципы правления, непревзойденные до сих пор?

Конечно, океан мировой истории так безграничен, что сегодня можно черпать из него примеры для подтверждения любой концепции. Политические демагоги последних ста лет так многократно злоупотребляли этой возможностью, что у людей выработалось подсознательное недоверие к самому принципу историко-философского мышления. Но можем ли мы поддаться этому? Только на том основании, что Маркс, Ленин, Гитлер, Сталин, Мао Цзе-дун, аятолла Хомейни спекулировали исторической полуправдой, — должны ли мы отказаться от уроков истории вообще?

К сожалению, даже среди честных мыслителей Запада и Востока сейчас все чаще вспыхивают бесплодные перепалки по вопросу о том, чей исторический опыт важнее, кто у кого должен учиться. Те, кто испытал на себе ужасы коммунистического рабства, говорят: "Наш оплаченный кровью и страданиями опыт уникален. Коммунизм есть небывалое явление в мировой истории. Никакие закономерности, выработанные вашим прошлым, к нему не применимы. Такого еще не было. Вы должны научиться на нашем опыте, чтобы спасти себя и весь мир".

На это люди Запада могли бы ответить: "Миллионы наших отцов погибли в бессмысленной войне первой мировой войны, когда о коммунизме и слыхом никто не слыхал. Турки вырезали полтора миллиона армян в 1915 году без всяких ссылок на Маркса или Ленина. Антикоммунист Гитлер уничтожил 6 миллионов евреев не по просьбе Сталина. Японские бомбы, падавшие на Китай, на Филиппины, на Пирл-Харбор, были изготовлены не коммунистами. Иди Амин в Уганде и Папа-Док на Гаити сеяли вокруг себя смерть и ужас не для укрепления власти рабочих и крестьян. И сегодня аятолла Хомейни посылает тысячи тринадцатилетних мальчишек на иракские минные поля именем Аллаха, а не именем Ленина. Иными словами: мировое зло многолико и многообразно, и коммунизм не может быть универсальным объяснением его, не может быть единственным виновником страданий мира".

Но гораздо чаще беглецы от коммунизма слышат из уст западных интеллектуалов другой ответ: "Да, ваш опыт ужасен. Но именно поэтому вы ослеплены им и не хотите знать ужасов и опасностей империализма. Нам нечему учиться у вас, потому что в ваших отсталых странах коммунизм был извращен. Крайности русского, китайского, камбоджийского коммунизма нам

не грозят. От крайностей нас защитят наши культурные традиции. Под защитой нашей культуры мы сможем воспользоваться всеми благами, которые (столь убедительно в теории) должно дать людям крушение эксплуататорского общества”.

Боюсь, весь опыт мировой истории идет вразрез с таким убеждением. Цветок культуры есть результат, награда, плод невидимых духовных усилий общества. Но цветок не может быть защитой. Всюду, где мы видим возрастание свободы, устойчивой законности, социальной справедливости, искренней любви к своей стране и готовности защищать ее от нападений изнутри и вне, — всюду это происходит вне зависимости от чисто культурных достижений, порой — при отсутствии таковых, ценой более глубокой работы человеческого духа. При этом мне не известен ни один пример, когда бы такое общество было создано людьми безрелигиозными.

Я думаю, мы не можем позволить себе такой роскоши: отбросить исторический опыт других стран, других эпох, строить наше политическое миропонимание на голом месте. Этот опыт лишь должен терпеливо очищаться от искажений и мифов. В том числе и от мифа, утверждающего, что культура сама по себе есть достаточная защита от политического варварства.

Будем надеяться, что сегодняшняя конференция поможет нам выйти из тупика, в который зашли наши политические дискуссии.

Наум Коржавин

СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА И ТВОРЧЕСКАЯ СВОБОДА

Наум Коржавин — один из крупнейших современных русских поэтов, автор ряда сборников, изданных в СССР; живет в США, публикуется в эмигрантской журналистике; последнее по времени его произведение “Поэма причастности” опубликовано в “Континенте” № 33.

У этой темы есть родственные: “Свобода мысли и свободная мысль”, “Свобода духа и свободный дух”. И наверно еще. Первые части этих двучленов (то есть то, что стоит за ними) играют большую роль, они создают условие для проявления вторых, могут затруднить, могут лишить их возможности проявиться. Они только не могут создавать вторые, вызвать их к жизни. Потому что значе-

ния вторых частей этих двучленов — сущностные. Переводя все эти рассуждения на простой язык, можно сказать, что в любой области культуры свобода творчества имеет смысл только в том случае, если есть само творчество. Проблемы творчества — это проблемы осмысления и восприятия жизни, они связаны с проблемами понимания человеком самого себя, своей сущности и своего самоопределения. Это совсем не значит, что можно не придавать значения свободе как таковой. Отсутствие свободы ведет к страшным вещам, но ее наличие само по себе отнюдь не гарантирует торжества добра и мудрости. И уж, конечно, не гарантирует высоты искусства и Духа.

Отсутствие свободы плохо не только тем, что самоочевидно, но и тем, что порождает aberrации. Совсем не обязательно такие, какие нужны притеснителям свободы, но однако все равно искажающие картину и соотношение ценностей. Это даже формирует вкусы — только от обратного. От обратного не в политическом смысле (мне уже случалось говорить, что насчет политического смысла — тут мы все клеймить горазды), а от обратного в чисто эстетическом смысле. Ведь у советской власти есть претензии и на чисто эстетическое, как это ни бессмысленно, руководство и на роль духовного руководителя. Обратное политическое место — плоскость, это все знают. Обратное эстетическое место — такая же плоскость и даже более грубая, ибо плоско касается материй, более тонких, чем политика. Но как раз это иногда почитается во многих кругах величайшей тонкостью, знаком духовной изысканности.

В этом смысле чрезвычайно интересно поговорить о ценности самовыражения. В СССР — особенно в конце пятидесятых-начале шестидесятых — против самовыражения метали официозные громы и молнии. Причем именно люди, которых Хрущев назвал с похвалой автоматчиками партии, такие ультраофициозные авторы, как Грибачев, Софронов и Кочетов, в этом даже прегоняли саму официозную версию, которая все же от самовыражения до конца не отмежевывалась. Реакция не заставила себя ждать. Самовыражение стало главной ценностью искусств — его целью и смыслом. Между тем самовыражение — не главная цель и ценность искусства, а только необходимое условие. Разумеется, если его понимать, как это обычно понимается, то есть как самодельное самопроявление, заявление о себе и о своем, утверждение себя, прида-

ющее большую важность всему, что с тобой происходит, каждой подробности твоего восприятия.

В сущности, можно было бы удивиться. Ведь обычно людей, которые слишком надоедают самими собой, в жизни не любят, их избегают. Я знал одну американскую девушку, потомка русских евреев, американских психологов, посочетовавших дочери ничего не таить на душе, а всегда выговариваться. В результате ее неизжитая местечковая назойливость была оправдана и усилена авторитетом современного знания. В России все бы обошлось. Приятельницы несколько раз предложили бы ей заткнуться, и реальность заставила бы ее измениться. В Америке же ей никто ничего подобного не говорил, — только старались избегать. Так что в быту уж слишком концентрированное самовыражение никого не восхищает. Но в искусстве оно внезапно становится сверхценностью, граничит с гениальностью. Понимать ее и находить в ней вкус, как пушкинский ханжа в сыре, становится respectable, знаком принадлежности к причастным кругам. Правда, это не всегда сопровождается чтением и особенно дочитыванием до конца требующих поклонения произведений (чаще всего это искренне откладывается на "потом", которое, как правило, никогда не наступает), но поклонению и причастности это не мешает.

Как всякие термины — такие, как социализм, коммунизм, пролетариат, — самовыражение часто превращается в идола и живет самостоятельной жизнью. Один молодой и талантливый (и при этом не очень наполненный смыслом) прозаик всерьез объявил, что больше он о России писать не будет, а с этих пор займется чистым самовыражением. Я вовсе не считаю, что надо обязательно писать о России. Русские писатели писали о разных странах, и от этого их произведения не становились иностранными (даже приобретая мировое звучание). Дело в другом. Дело в самом обращении со словом "самовыражение". Я повторяю: слово это стало идолом, индульгенцией, символом творчества и оправданием его подмены, оправданием отсутствия откровений. Оно живет само по себе. Это яркий пример идолизации термина.

В сущности, самовыражение и самоутверждение, желание напомнить о себе существовало всегда. И когда Петр Иванович Бобчинский просил Чичикова сообщить там, в Петербурге, всяким вельможам и особам (а если придется, и Государю), что живет в некоем городе Петр Иванович Бобчинский, то ведь это тоже объясняется желанием как-то выразить, утвердить, заявить о себе, хотя

бы именем прозвучать в центре Государства. Сегодняшний Бобчинский не так прост. Он знает, что он индивидуальность, то есть существо, включающее в себя отправления организма, нереализованные (а часто и беспочвенные) амбиции, комплексы и т. д., он слышал от людей (а то и в книге вычитал — книги разные бывают), что все это, если его вывернуть перед публикой наизнанку, будет представлять эстетическую и культурную ценность и поможет заявить о себе наилучшим образом. И это даже будет называться движением культуры вперед. Особенно это вдохновляет в стране, где непопулярной и без того властью формально ведется борьба с индивидуализмом, где государство пытается унифицировать культуру. И где поэтому каждый, кто относится к государству оппозиционно, оказывается в лагере защитников культуры. И автоматически защищает и выдавливает из себя восхищение всем, что давит государство. Таково косвенное последствие давления и несвободы. Это создает ощущение причастности к культурному человечеству, находящемуся за железным занавесом. Часто это насквозь политизированная позиция воспринимается, как высокая аполитичность, чуть ли не погружение в божественное. При этом забывают, что и в свободных странах происходит жизнь, что и на Западе инерция гораздо сильнее, чем творчество, что и на Западе духовность и культура, и самостоятельность мысли должны утверждаться каждый день — и поэтому каждый день находятся на краю пропасти. Просто потому, что там, где живут люди, рая не бывает (люди, как известно, из рая изгнаны — за несоответствие моральных возможностей занимаемой ими должности). Это положение общее. Но кроме того, Запад никогда не скрывал своих слабостей, а в 1968 году продемонстрировал их себе и другим совершенно открыто. Конечно, у нас этого почти никто не захотел заметить, а на тех, кто заметил, иногда смотрели как на подпевал официальной политики (ведь парижские студенты боролись за свободу, а бороться за свободу, по мнению профессионального протестанта, всегда хорошо). Тот факт, что французские и другие протестанты боролись за свободу в свободных странах и что это как раз отвлекло их от защиты чешской свободы, которая как раз в это время грубо попиралась советскими танками и бессовестными советскими функционерами, попиралась нагло и цинично, прошел как-то мимо внимания. А ведь именно в это время в Париже Арагоном был создан Комитет по защите свободы печати. Трудно понять, что это за свобода, которой Фолкнеру вполне хва-

тало, а Арагону и Триоле — нет. (Мне тоже хватает — мои трудности не от отсутствия свободы).

Арагон не одобрил оккупации Праги и вошел в конфликт с Москвой. Но ведь конфликтные отношения — все же отношения, и это не снимает дикости организации такого комитета в Париже в то время, как и оккупация-то произошла именно для того, чтоб закрыть свободную печать.

Не откажу себе в грустном удовольствии напомнить, что Арагона к коммунизму привел именно модернизм, то есть бунт против человеческой экзистенции и человеческих связей, тот штампованный культ человеческого самоутверждения и тщеславия, который свойствен этому даже не направлению, а умонастроению вообще. Вероятно, причин такого извива культуры было много, причин, почему разорванное сознание воспринималось как высший шик, — так что оно породило мириады имитаторов. Имитация разорванного сознания — это ведь имитация сумасшествия, имитация сифилиса. Понятно стремление больного быть здоровым, но стремление здорового выглядеть больным — не такой уж пир непосредственности, не правда ли? Вероятно, этому способствовало многое, о чем надо говорить отдельно, но все же горе тому, через кого приходит соблазн. А соблазн этот в значительной степени приходил через литературу. “Революция от скуки” могла возникнуть только в такой культурной обстановке, в создании которой колоссальную роль играла литература — то, что она романтизировала, то, что освобождала. Ведь это именно литература создала такую шкалу ценностей, когда тот, кому скучно, деть себя некуда, выше того, кто занят заботами жизни. Разумеется, не вся литература, а литература определенного сорта. Разумеется, не все герои, которым некуда деться, не заслуживают любви и внимания. Я отнюдь не отрицаю трагического мироощущения. Особенно в наше трагическое время. Но трагический герой потому и трагичен, что он очень хочет куда-то себя деть, но не может. В силу многого, что наполняет его жизнь, но многого, обязательно существенного. И он отнюдь не любит свою неприкаянность, он страдает от нее.

В наше время и Бобчинский, и Акакий Акакиевич, и Ноздрев, и учитель Беликов изображаются изнутри при помощи сложных средств — благодаря чему все это выглядит не как творчество, а как упражнение в психологии. Отнюдь не все герои располагают к тому, чтобы смотреть на мир их глазами. И когда человеку

хочется не просто заявить о своем умении (которому можно научиться), а действительно что-то сказать — он это знает. Но в наше время часто авторами становятся те, кто может быть только персонажем. Автор должен быть творцом, а не одним из персонажей, — даже если произведение задумано в форме исповеди. А творец должен иметь “образ мира, в слове явленный”, о чем бы он ни говорил — даже о таком человеке, как Акакий Акакиевич или Беликов... Или о своей любви.

Я помню, что однажды, на каком-то собрании уже за границей, один довольно талантливый автор сильно возмутился, когда я попытался напомнить о связи искусства с Добром и чем-то высоким вообще. То ли его возмутила банальность самой постановки вопроса, то ли он решил, что я претендую на какие-то особо интимные связи с Добром, недоступные другим. Не знаю. В эмиграции вообще люди часто возмущаются и друг друга подозревают в чем-то. Но в данном случае дело было не только в банальности, не только в святости и необходимости добра в жизни, не в том, что добро вообще хорошо. А в том, что стремление к добру — один из параметров человеческого и духовного мира (даже когда человек это игнорирует), и если авторский голос противоречит этому нормальному восприятию или безразличен к нему — то произведение проигрывает во всем, прежде всего — в форме, хотя именно тем, что его автор называет формой, оно обычно озабочено. Оно может совпасть с умонастроением времени, допустим, тоже разуверившегося в Дobre (то есть во всем вообще) и находящего себе иные развлечения. Поэтому какие-то эмоциональные толчки могут вполне пониматься и восприниматься. Но время проходит. Развлечения (даже если не приходит какая-то вера) сменяются другими и произведение становится эмоционально непонятным, распадается. Я отнюдь не говорю о тематическом следовании теме добра, отнюдь не о голубой вере в его вечное и неколебимое торжество, я даже никак не против темы потери веры в добро, исчезновения добра. Я только против равнодушия к этому обстоятельству, против холодной, а то и упоенно-сладо-страстной констатации этого факта, то есть отсутствия добра в мире, согласия продолжать жить без него, противоречащего всему, из-за чего стоит мыслить, писать и волноваться, то есть быть озабоченным чем-то, выходящим за рамки своих бытовых обстоятельств и отправлений.

Все это — самоутверждение. В принципе самоутверждение —

вещь нормальная, если не выдает себя за нечто другое и если происходит за свой счет, если не норовит оглушить этим самоутверждением все вокруг. А в искусстве — если это самоутверждение в причастности, а не просто в людской молве или театральных эффектах. Кстати, в наше время авторами становятся не только персонажи, но и актеры, то есть люди, чувствующие не читателя (друга с понимающими глазами), а публику и себя в роли. Впрочем, иногда это актерство и без публики, но все равно это не сущность, а роль, то есть опять-таки персонаж, а не творец.

Все это вещи совсем не такие безобидные. В последней автобиографической вещи Валентина Катаева, писателя отнюдь не идеального, которого можно упрекнуть во многих грехах (и я здесь не собираюсь разбирать его творчество), есть такой момент. Герой, став солдатом, страдая от жестокости войны, от взорванности мира, от многого другого, вдруг понимает остро и неопровержимо, что все это — от чего страдает и он, и другие — вызвал он. Нет, это не просто христианское и вообще религиозное ощущение общей греховности, а именно сознание собственного проступка: я вызвал! Он вспоминает, что незадолго до войны, в жару, гуляя по душной одесской улице, сытой и скучной, вполне упорядоченной, как был упорядочен тогда еще почти весь мир, он вдруг ощутил неодолимое желание, чтоб все это взорвалось, поколебалось, чтоб случилось нечто, способное положить конец этой скуке, чтоб она потонула в громе и в огне. Пересказ мой весьма слаб и тускл. Написано же это ярко и талантливо — в талантливости этому автору никогда, кажется, никто не отказывал. Это какое-то молниеносное откровение, показывающее, какой писатель был задавлен в Катаеве его конформизмом (впрочем, в случае, если б не было конформизма, он вполне мог бы быть задавлен и петлей — времена, в которые он жил, не стимулировали откровений). Но речь сейчас о другом. Дело в такой скучной (по названию) вещи, как система ценностей. Вероятно, не только бедствия войны имеет в виду Катаев, когда говорит о том, что он вызвал — из-за ненависти к скуке — как злой волшебник. Это система ценностей, когда главное — самоутверждение личности, главное — чтоб не было скучно. Это умонастроение — весьма распространено и утверждено литературой.

Это дьявольщина. Одна очень милая дама, защищая структурализм в применении к литературе и искусству, сказала мне, что это метод, который “по крайней мере” дает талантливому че-

ловеку область занятий. Я отнюдь не собираюсь сейчас отрицать или утверждать этот метод — это требует специального разговора. Я просто говорю о логике, об оправдании существования — мир, как создание условий для применения сил талантливого человека, Получается, как выпуск этикеток для коллекционирующих этикетки — болезнь цивилизации и культуры.

Я просто хочу сказать, что лозунг “революция от скуки” (выраженное в лозунге ощущение Катаева, ужаснувшее его впоследствии) коренится в глубине нашей общей культуры. Я хочу сказать, что те, кто таким образом догоняли Европу, догоняли свой вчерашний день, свой, уже принесший страшные плоды, грех. И догоняли вчерашний день западной культуры.

Все, что они догоняли, уже в общем было осознано и ею отринуто. В частности Томасом Манном, который отдал немалую дань такому отношению к искусству, а потом почувствовал и отринул это. Герой его “Доктора Фаустуса”, талантливый композитор Леверкюн, посвятил жизнь как раз такой гениальности. Нет, даже не тщеславию — случай более сложный, — а именно какому-то самоупоенному самоутверждению, гениальному самовыражению роста гениальности — без любви и обмена с жизнью, без добра... Нет, он не был нацистом, не был творцом лагерей, он просто увел себя и людей от их сущности, ответственности и связанности друг с другом. И на фоне Трешлипки и Освенцима это выглядело чудовищным. Не в гражданском и политическом — а в человеческом и художественном смысле. Творчество Леверкюна — обратная сторона того, что произошло. Хочу напомнить, что нечто подобное происходило и у нас. Что приятие большевизма Блоком тоже вытекало из, если можно так выразиться, части его эстетической позиции. Леверкюновское начало было уже в Блоке, было во времени, было в самой атмосфере серебряного века, особенно его периферии. Все достижения этого века (а их немало) достигнуты вопреки этому духу. И Блок только вернулся к себе — через покаяние “Пушкинского дома” и Пушкинской речи. Блоку было куда возвращаться, но многие истины серебряного века облегчили капитуляцию перед большевизмом многим другим. Ведь знаменитая фраза: “Важно не что, а как” — тоже идет оттуда. Это фраза была как-то оправдана для тех, у кого “что” само собой подразумевалось, но на самом деле они создали веселые братства рассказчиков (о которых писала Н. Я. Мандельштам) и определили многое в капитулянтских для культуры двадцатых годах. Да ведь

и Сталин требовал от писателей "высокого мастерства", то есть "как" — "что" он им распределял в организованном порядке.

Парадокс состоит в том, что тоталитарные вожди преследуют модернизм, который выражает их сущность, их самоутверждение. Но это происходит только потому, что они вовсе не стремятся к самовыражению и вовсе не склонны к самосознанию. Они хотят видеть в искусстве не свою сущность, а себя — красивыми и на коне или, одновременно, в боевом и мудром виде на утреннем москворецком мосту.

Нет, я отнюдь не призываю обязательно клеймить в стихах и прозе советскую власть. Я отнюдь не настаиваю на том, что обязательно надо писать о красивом. Но я просто думаю, что абстрагируясь от того, что у нас советская власть, из-за которой, как минимум, мы не можем посетить свой дом и увидеть близких и близкое, мы или врем, или настолько равнодушны ко всему на свете, что лучше нам и рта не открывать. Ибо не имея отношения к своему прошлому, к тому, что осталось дома, мы не имеем отношения ни к чему вообще. Мы просто не существуем духовно. Я не утверждаю, что обратное этому — в принципе наиболее благоприятно для искусства, но это лучше, чем ложь, чем неосознанная поза. На американском симпозиуме в Лос-Анджелесе, названном для интереса конференцией русских писателей, один автор твердо заявил, что ему надоели лагеря в литературе. Это должно было создать в слушателях комплекс неполноценности — тут идет такой пир широкой души, такое обновление, а вы все про какие-то лагеря! Как будто мы уже давно в Москве, а какие-то люди, как французские "вье комбатан", все вспоминают минувшие дни. Но мы не в Москве. Это неправда. И пир широкой души тоже неправда, и неправда вполне коммерческая. Это очень совпадает с представлением о литературе тех литературоведов, которые, изучив язык, счастливо нашли ему применение, занявшись литературой. А их не мало. Я отнюдь не хочу сказать, что такие все. Есть люди разные. Но и самые лучшие из них не могут определять путей русской литературы — хотя бы потому, что не определяют путей своей литературы. И поэтому мне было странно прочесть о себе, что мои слова, на этой конференции в Лос-Анджелесе, о том, что "я пишу не для славистов, я пишу для нормальных людей", были восприняты как эпатаж. Мне пятьдесят семь лет, и никакими "провокациями", художественными приемами я не занимаюсь, ни к каким допингам не прибегаю. Я так сказал пото-

му, что действительно так делаю и не понимаю, как можно иначе. Насколько надо забыть о достоинстве нашей культуры, чтобы воспринять это банальное заявление, как эпатаж?

Но есть еще один момент. Мы вовсе не приехали сюда из отсталой страны. Мы приехали сюда из страны, вполне вплетенной в вязь европейской культуры и, к сожалению, передовой, то есть находящейся ближе к той пропасти, куда имеют тенденцию двигаться все. И если кто-нибудь из нас вывез оттуда что-либо ценное — то это горький опыт соблазнов, а не антисоветские анекдоты или желание соответствовать местной университетской моде. Мода эта в нас не нуждается. И мне жаль тех, кто нуждается в ней. Таким никакая свобода творчества не сможет обеспечить свободного творчества.

Жорж Нива

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕТОК ПО ПОВОДУ ДВУХ ОБРУСЕВШИХ СЛОВ

Жорж Нива — французский литературовед-славист, автор ряда глубоких исследований русской культуры; ряд его статей и эссе опубликован в русской эмигрантской печати.

Я буду говорить, конечно, не как русский писатель и не как русский читатель, а как западный читатель современной русской прозы.

Русские нам подарили два слова, о которых я хочу сделать несколько замечаний. Первое слово — “интеллигент”. Не член социального класса “интеллигентов”, класса учителей, врачей, раньше — “земцев”, сейчас — партийных работников, а член рыцарского ордена “интеллигенции”. Интеллигент верил в прогресс, был активный атеист, убежденный антигосударственник, яростный адвокат науки. И, может быть, главное было не в науке, а — в ярости.

“О чем, бывало, ни заговоришь с ним, он все сводит к одному: в городе душно и скучно жить, у общества нет высших интересов, оно ведет тусклую, бессмысленную жизнь... подлецы сыты и одеты, а честные питаются крохами; нужны школы, местная газета с честным направлением, театр, публичные чтения, сплоченность

интеллигентных сил; нужно, чтоб общество сознало себя и ужаснулось" ("Палата № 6").

Так А. П. Чехов дает портрет интеллигента: злость, ярость — необходимый компонент этого русского протестанта, этого русского варианта кальвиниста (конечно, безбожного, обмирщенного). В этом портрете есть доля раздражения. Перед своим другом Плещеевым А. П. Чехов оправдывался:

"Вы как-то говорили мне, что в моих рассказах отсутствует протестующий элемент, что в них нет симпатий и антипатий... Но разве в рассказе от начала до конца я не протестую против лжи? Разве это не направление?" (10 октября 1888 г.)

Напрашивается параллель с недавней ситуацией, с недавними высказываниями...

Скажем так: русский интеллигент вел борьбу прежде всего с безразличием и мало обращал внимания на цель. Цель казалась ясной. Мы пост фактум знаем, что она не была ясной. Но наш век другой.

Русские дали нам и второй вариант русского протестантизма: диссидента. Диссидент борется с установленной утопией. Он упрям и хитер. Он подрывает серьезность бюрократа, он дразнит, шокирует "гомососа" (пользуясь словом, подаренным нам А. Зиновьевым). Он маленький Давид со своей пращой: иронией. Он требует от противника, чтобы тот соблюдал свои же уставы, конституции, весь словесный покров идеологии. Он борется оружием, взятым у самого противника. Диссидент, в отличие от интеллигента, одинок и ироничен. В моих глазах образцом диссидента является Андрей Амальрик: он превращает "Невольное путешествие в Сибирь" в манифест и в пародию. Диссидент не задыхается старостью и негодованием. Он хладнокровен и ехиден. Он изучает трещины на блиндаже. Он буквалист и "остранитель" устава. Все его нахальство в том, что он от казенных слов требует смысла. Исторически он появился, когда террор ослаб, и Голиаф долгое время колебался перед ним: что это все значит, это не предусмотрено уставом. Литературно это нам дало свежие, иронические, блестящие книги молодых людей — не только непрофессионалов литературы, но даже, можно сказать, антипрофессионалов.

Мы, люди западные, заимствовали у вас эти два слова, или, скорее, взяли их обратно (они же наши: одно итальянское, другое французское). А вы их вернули нам с неким русским коэффициентом. Я бы свел этот коэффициент к одному: к религии отказа.

Во время расцвета русской интеллигенции отказ был повальный. В какой-то момент он стал вредным; на это указали авторы сборника "Вехи". Во время расцвета диссидентства отказ стал индивидуальным (общество при тоталитаризме раздроблено чуть ли не на молекулы). В иных случаях эксцессы этого индивидуального отказа изуродовали человека — во всяком случае, сделали его социально невыносимым. Получив на Западе диссидентов, мы и любовались, и удивлялись. До того шероховаты были порой эти посланцы другого мира.

И вообще мы вас воспринимаем по-своему, читаем вас по-своему. Слово "ГУЛаг" вошло в нашу лексику, как слово "быстро", и мы обесценили это страшное слово. После письма Солженицына съезду писателей о цензуре, пятеро швейцарских авторов объявили публично, что нельзя сосредотачивать внимание на цензуре, что, мол, и мы, западные писатели, страдаем от цензуры. Да, мы злоупотребляем словами, мы частично теряем их смысл.

Первый урок, шедший от вас, был: восстановление смысла. Это великий урок Солженицына и других авторов, среди которых нельзя не назвать Евгению Гинзбург. Это был "протест против лжи" посредством правды и иронии. Ирония — тайное оружие этого нового откровения, ирония скрепляет творчество Солженицына.

Теперь я хотел бы наметить второй урок. Бунт против лжи, бунт против великана сейчас превращается в бунт против "реального". Может быть, это новый вариант русского самосожжения. Андрей Синявский первый объявил, что литература обратится в фантастику. Возродилась, вспыхнула фантастическая литература.

Так же, как от Достоевского до Белого исступленная религия отказа породила литературу о болезнях интеллигента, о его патологии — сейчас появилось сильное патологическое течение. Белый в своих фантастических космогониях инсценировал последние кошмары последнего "интеллигента". Сегодня многие тексты инсценируют последний крик, последние судороги человека перед лицом бесстрастного террора палачей.

Произведений, полных ярости, исступленности и даже трагического паясничанья, немало; в этом зале — несколько авторов таких текстов; я назову лишь одну книгу: "Москва-Петушки" В. Ерофеева.

И вот эта фантастика исступленности на свой манер договари-

вает то, что сказала нам литература правды и иронии. Таков урок второй: фантастика тоже спасает смысл.

Борис Парамонов

ЯЗЫКИ КУЛЬТУРЫ И ЭСПЕРАНТО КОММУНИЗМА

Борис Парамонов — философ, публицист, один из самых глубоких и ярких авторов русского Зарубжья; его статьи по проблемам философии, религии, культуры и литературы опубликованы в ведущих эмигрантских изданиях.

Наша сегодняшняя тема — различия и единство культуры. Можно было бы сказать, что культура это и есть различие: разделение, дифференциация, индивидуализация. Культура прежде всего — это язык. Старое русское слово "языки" означает — народы, нации. Культура всегда локальна, я бы сказал — провинциальна. Случилось так, что слово "провинция" сделалось синонимом культурной отсталости. Это неверно. Данте, человек спускавшийся в ад и поднимающийся на небо, имевший дело с универсальными характеристиками бытия, — живя в Равенне, тосковал по Флоренции. На уровне индивидуальной судьбы бытие оборачивается бытом — не только языком, но и городом, улицей, домом. Хайдеггер говорил, что язык — это дом бытия. Есть и другое изречение: в доме Отца Моего обитателей много. Бытие как фундаментальная реальность индивидуализировано и расчленено, стилистически дифференцировано, в нем выявлены индивидуальные образы, "эйдосы". Мир был создан как конкретное многообразие. Единство культуры означает не общий ее облик, а комплементарность, взаимодополнение. Языки требуют перевода — то есть нового культурного усилия, вживания в иную органическую индивидуальность. По-другому: это единство, единство культуры, невозможно на путях насилия, оно возможно только на путях любви.

Есть и другая характеристика культуры, тесно связанная с первой, с ее языковой и бытийной конкретностью: это ее консерватизм. Культура фиксирует, а не переделывает бытие. Культурные стили многообразны и изменчивы, но мы называем культурными те страны и общества, в которых сохраняются, а не отвергаются культурные богатства прошлого. Культура плюралистична

не только в пространстве, но и во времени. Я имею в виду не только музеи, — но умение уберечь в моменте времени живую связь с прошлым, если угодно — с вечностью. Здесь, в Милане, недалеко от церкви Сан-Амброзио стоит памятник солдатам Муссолини. Вот это и есть культура: способность интегрировать прошлое. Не важно, что на стенах старинных церквей начертаны знаки серпа и молота, — важно, что в них продолжает идти богослужение. Совсем недавно в Америке вышел английский перевод книги Томаса Манна “Размышления аполитичного”, написанной во время первой мировой войны. При желании эту книгу можно назвать реакционной; во всяком случае, она чужда и непонятна американцам. Тем не менее она издана. Это высококультурная акция.

На этом примере стоит остановиться подробнее. Пафос книги Томаса Манна — в остром противопоставлении духовно углубленной германской культуры — и рационалистически упрощенной цивилизации Запада. В Германии — по крайней мере, ко времени написания этой книги — существовал еще антизападнический комплекс, тот же самый, который в России назывался “славянофильством”. Томас Манн считал, что в 1914 году Германия выступила в защиту культуры против цивилизации. Такое суждение было ошибочным в политическом смысле, что и признал позднее сам автор “Размышлений аполитичного”, но это не может уменьшить громадное культурфилософское значение данной антитезы. Конфликт культуры и цивилизации действительно существует. Вопрос только в том, вправе ли мы безоговорочно отождествлять тогдашних противников Германии — Францию, Италию и Англию с Америкой — с цивилизацией как таковой, если под цивилизацией, в отличие от культуры, мы согласимся понимать односторонне прогрессистскую, рационалистически-прагматическую, насквозь политизированную и логически упрощенную модель бытия, ориентированную утилитарно и эвдемонистически, то есть если не ту реальность, то тот проект, который Олдос Хаксли назвал “храбрый новый мир”. Такая идентификация, конечно, неверна в отношении Запада, англо-романских стран. Этот мир казался Томасу Манну выброшенным на цивилизаторскую поверхность, экстериоризированным — тогда как он сохранял и сохраняет культурную глубину. Он в высшей степени толерантен; и я имею здесь в виду не столько политический его плюрализм, сколько многослойность его повседневного бытия, сохранение исторических связей и памяти. Италия, несмотря на все успехи здешних

коммунистов, остается католической страной, местопребыванием папского престола. В Англии, наряду с парламентом, существует королева; владельцев старинных имений обложили налогами, но их не расстреляли и не изгнали из страны, и их поместья не обратили в машинно-тракторные станции. В Америке нет древней истории и богатых традиций, но в ней книга "Унесенные ветром", посвященная возвеличению плантаторского Юга, стала национальным бестселлером. Я был, можно сказать, умилен, увидев в нью-йоркской публичной библиотеке выставку, посвященную 75-летию юбилею нью-йоркского сабвея; право, ржавые рельсы, там выставленные, в каком-то отношении не хуже церкви Санта Мария делле Грацие! Англо-романский Запад отнюдь не безоговорочно поклонился идолу "прогресса".

Но в современном мире существует реальность, которая ничего кроме этого "прогресса" не знает и не хочет знать. Это — коммунизм. Я бы назвал коммунизм явлением полностью и целиком авангардным, и только авангардным. Он существует только в настоящем, и в этом его главное зло. Если современная цивилизация опирается на науку, то в коммунизме нет ничего, кроме науки, возведенной в сан идеологии; критический, и в глубине плюралистический, демократический дух науки им отвергается, наука сделалась в коммунистическом обществе интолерантной и эксклюзивной. Если современная цивилизация машинна, то при коммунизме машина делается объектом псевдо-религиозного почитания и, что еще хуже, моделью организации общественных отношений. Коммунистический ГУЛаг — это и есть машинно-технологическая утилизация людей. Можно сказать, что коммунизм не только соблазн современности, но и соблазн современностью. Отсюда, между прочим, все его неудачи, провал коммунистических планов как проекта всеобщего благоденствия. Сельскохозяйственный кризис в СССР — это не столько кризис экономической организации, сколько обнаружение идейно-мировоззренческого кризиса: нельзя выращивать хлеб, утратив любовное, индивидуально-выраженное отношение к земле. В Соединенных Штатах больше хлеба, чем в Советском Союзе, не потому, что там больше машин, а потому что там сохранено это любовное отношение к земле, к корням, к бытию. Коммунизм научился делать ракеты — орудия уничтожения, но он не умеет выращивать хлеб. Коммунизм — это существование, утратившее бытийные корни, выброшенное на поверхность в сиюминутность, в ничто.

И поскольку коммунизм отторгнут от бытия, постольку он враждебен духу культуры, духу языка. Для него нет различия между русским и поляком. Это не интернационализм, а голая цивилизаторская абстракция. Коммунизм говорит не по-русски и не по-итальянски, он говорит на эсперанто — на искусственном языке мертвых механических формул. В этих формулах невозможно сказать культуре, нельзя в них обрести ее единства. Формула коммунизма — это формула энтропии. При коммунизме из жизни уходит качество — то есть определенность, уходит сама жизнь — ибо жизнь есть ни что иное как совокупность индивидуализированных ликов. В этом смысле жизнь и культура идентичны, жизнь — вечная модель культуры. Единство культуры сегодня — это единство ее судьбы, самого ее существования: сумеет ли она удержать свое качественное многообразие, свою иррациональную глубину — или, соблазненная “общим смыслом”, приманками плоского рационализма, сойдет на нет в его пустоте.

Юрий Кублановский

ПИСАТЕЛЬ И АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО

Юрий Кублановский — поэт, эмигрировал в 1982 году; его стихи опубликованы в “Континенте”, “22” и других журналах, а очерки современной русской духовно-религиозной жизни — в “Русской мысли” (1983 г.)

Несколько лет назад Эжен Ионеско сказал: “В наши дни я обязан быть патетичным”.

Я это понимаю так: наши — во всей полноте этого слова — реально последние, наши роковые времена зовут художника к максимально серьезному отношению как к своему миро-созерцанию, так и к своим литературным задачам.

В двадцатом веке “патетика” в некотором роде стала синонимом “риторики” (воспринимающейся уж совсем заведомо негативно), и как таковая ушла — вместе с религиозной насыщенностью и классицистической темой — сначала из изобразительного искусства, а потом и из литературы. Раньше и вопроса такого не стояло: где надо — писатель был ироничен, где надо — реалистичен, а в кульминации — как Пушкин в “Полтаве” или “Медном Всаднике”, Гоголь в “Мертвых душах”, Баратынский в своей

гениальной “Осени” или Толстой “Под Аустерлицем” — полноценно и естественно патетичен.

Но постепенно патетика стала чем-то постыдным, — рефлексия, ирония, а лучше попросту — тотальная хохма пронизывают творчество слишком многих. Тут отчасти повинна и некая ложно “целомудренная” боязнь высокого (словно “высокое” — синоним “трескучего”), но, увы, чаще — просто “самолюбивая пустота”.

И это при том — что большинство согласно, что теперь у нас “пир во время чумы” и проч.

Думаю, что такое состояние связано с ослаблением ощущения себя — как частицы религиозного, Промыслительного течения мира, а следовательно, с ослаблением понятия абсолютного зла: от понятий антиномичности и многосложности перешли к двусмысленности и вседозволенности, что, в свою очередь, вынимает из личности твердый нравственный стержень и превращает ее в марионетку случая, самости и каприза.

Сторонники “чистой культуры” потому и не выносят и не понимают Солженицына, скажем, что чувствуют за ним нечто полярное: предельно твердое понимание, где добро, где истина, а где абсолютное зло, “персонифицированное” для него в материалистической секуляризации мира.

Никто никогда не писал только белой и черной краской — ни Шекспир, ни Достоевский, но многосложность произведения достигается вовсе не за счет самолюбования и любования рефлексией отвечающего на него мира.

“Злодей” мог быть наделен массой обаятельных черт, “преступление” могло выглядеть немотивированным или неоднозначно предосудительным, но стоявшие за действием (а “попросту” существовавшие в духовном зрении автора) понятия добра и зла недвусмыслились. Потому и возникал так называемый катарсис, а лучше — свет во тьме, потому даже и в “Бесах” имманентно присутствует ослепительное “положительное” свечение.

И, конечно, я вовсе не предлагаю литературе прямо включиться, скажем, в борьбу с коммунистической деспотией (олицетворяющей, скажу прямо, для меня “онтологический” сгусток зла) за счет всесторонней художественности. Но и борьба с дьяволом — это отнюдь не “политика”, она требует мощного спектра идейной и художественной выразительности и лишь тогда сможет стать подлинно эффективной... Я только предлагаю — н и к о г д а н е

выпускать из “мироощущенческого” вида, что зло однозначно реально и победоносно расползается по земле. И у писателя — я знаю, некоторые при этом поморщатся — несомненно есть долг, даже не перед “обществом”, нет — это “слабо” сказано, но раз он человек — перед Богом, перед собственной судьбой — а если это для кого-то чересчур общо или жидко, то, если угодно, перед собственной смертью, а точнее — перед тем моментом, когда толстовский Иван Ильич вдруг завыл... Ведь умирать все будем, и это и есть та часть Страшного Суда, которую не возьмутся оспаривать даже самые завзятые материалисты...

Еще остановлюсь на одной теме, часто в силу ряда причин отождествляемую с патетичным и выспренным, — одними она сброшена “с корабля современности”, другими, часто продажными там в СССР, эксплуатируется безжалостно — теме О Т Е Ч Е С Т В А.

Как раз год назад на вызове в КГБ мне было обещано: “С теми, кто, как вы, сидит на двух стульях, мы будем безжалостны, но вообще 80-е годы станут годами расцвета русской литературы”. И судя по всему — “гальванизация” намечается как раз по линии “патриотизма”. Хотят, подобно Сталину, снова провести патриотический маневр, снова в своих целях поэксплуатировать то, что априори дается каждому имеющему живое сердце “гражданину” на его территории: любовь к земле, на которой он родился. Например, последний — за 1983 год — “День Поэзии” насыщен реалиями родной земли и истории. Не буду, конечно, приводить этих виршей, но как пример — вот заключительная строфа поэта, которого новые “почвенники” муссируют теперь как нового классика, поэта Николая Тряпкина:

И никакого там пророчества,
И никаких других святынь...
А если жить уж так расхочется —
Да примет отчая полынь!

Вот то, что там теперь от них надо: отчая полынь, но без... святынь и пророчеств! Духовное осмысление родной земли и истории подменяется самым материалистическим (и как всякий материализм) — отрицательно мистическим пантеизмом!

Природа, безжалостно истребляемая фараоновыми проектами и разграбляемая и распродаваемая кучкой бездарных диктаторов-нахлебников — важнейшая и страшная тема. Но когда она

становится некой “духовной субстанцией”, заменяющей Бога — это превращается в идейное язычество самого дурного пошиба!

Или вот поэт более серьезный, претендующий на некоторое “пушкинианство” Самойлов там же публикует:

Люблю я страну. Ее мощной судьбой
Когда-то захваченный, стал я собой.
И с нею я есть. Без нее меня нет —
Я бурей развеян и ветром отпет.
И дерева нет, под которым засну.
И памяти нет, что с собою возьму.

Вот такая беспамятная любовь к стране и поощряема, и нужна, там за нее хорошо платят!

Тут, конечно, страшный большой, искусительный “последний” вопрос: иногда кажется, что Россия прошла, пала, как многие драгоценности истории, и... уже ничего не вернешь. Но когда я вспоминаю, как ощущал себя где-нибудь у вологодской Софии или на молитве в храмике Подмосковья, что чувствовал, когда сталкивался вдруг с яркой личностью, новым недюжинным характером, глубоким христианином — то возвращается надежда — что то, что теперь — лишь страшная, но еще не смертельная болезнь, не лишенная промыслительного звучания... И хочется работать не для себя, не для “ценителя” — а на духовное воскрешение...

... Последнее слово, конечно, за Богом, ну да позволено нам будет ощущать себя некими маленькими плотинами — многоводному красному течению зла в мире! Ведь если каждый из нас заведомо откажется от этого, то расширяющийся процесс обмиршения и душевного и умственного развращения — быстрее и окончательнее сметет цивилизацию и культуру, а, следовательно, конечно, и любые виды словесности, в том числе и ту, за которую ратуют поборники “чистого искусства”!

Конечно, нельзя искусственно взбадривать себя, насиловать и обращаться к тому, чего нет в сердце. Но стоит жить и работать в том направлении — чтобы не только выдавать тексты и выстраивать замыслы, но и вырабатывать направленное мироощущение, своей духовностью отличающее нас в лучшем случае от просто “растительного мира”, а в худшем — от бессознательных припешников зла...

Я не “требую” ничего невозможного, в конце концов, лишь

одного: в соответствии с мировой культурной традицией вновь насытить высоким смыслом “вопрос” жизни и смерти, добра и зла, коренной вопрос нашего бытия, как в его эстетическом, так и в самом что ни на есть житейском аспектах.

Михайло Михайлов

МИР СВОБОДЫ И ПЛЮРАЛИЗМ

М. Михайлов — писатель и публицист, автор ряда книг и статей в независимой югославской и русской эмигрантской печати, член редколлегии журнала “Континент”.

В Соединенных Штатах, где я живу уже пятый год, выступающие на моем месте всегда повторяют одну и ту же шутку — дескать, уважаемые слушатели, я тот долгожданный и желанный оратор, которого вы столько ждали, то есть — последний. Ну, вот, я и есть последний, и я прошу меня извинить, что я иногда косноязычно говорю, но я на всех языках косноязычен. Дело в том, что моей темой должен был быть “Мир свободы и плюрализм”, и я подготовил доклад для обыкновенной аудитории, иными словами для публики, которую надо в чем-то убеждать. Но приехав сюда, я увидел, что здесь такой публики мало, а убежденным говорить то, что все они знают, просто неинтересно и скучно. Поэтому я переделал доклад и решил поделиться... не убеждать аудиторию в чем-либо, а просто поделиться некоторыми сомнениями и вопросами, на которые я сам часто не могу найти ответа.

Если бы я говорил перед обычной аудиторией, я бы, конечно, сослался на пастернаковского доктора Живаго — помните, там на последних страницах описывается начало первой мировой войны, и Пастернак пишет, что все почувствовали облегчение, когда она началась. Потом можно было бы сослаться на “Мир и насилие” Солженицына, да и на собственный опыт в тюрьме. Я встречался там главным образом не с политическими, а с уголовниками, которым предстояло сидеть еще двадцать лет, и они с огромным интересом при каждом политическом кризисе спрашивали меня: а есть ли возможность, что вспыхнет война? И были ужасно разочарованы, что в 1968 году (когда я тоже сидел) война не вспыхнула.

Таким образом, тот факт, что мир сам по себе не является величайшим благом, по-моему, самоочевиден и является азбучной истиной. Ну, я бы также сказал о том, что поэтому только дестабилизация (это такое модное словечко, которого в наше время не избежать) — дестабилизация несвободных обществ ведет к стабилизации вовне, но сама, так сказать, идея дестабилизации в наше время тоже не пользуется популярностью. В этой связи у меня есть и личные, из моего детства, переживания. Я окончил гимназию в Сараеве, городе, где началась первая мировая война, и вот мальчишками мы бегали на тот угол, где Гаврила Принцип, сербский националист, стрелял в эрцгерцога Фердинанда. Там, в бетоне, оттиснуты подошвы — место, где он стоял, и мы, конечно, становились туда и представляли себе, как это: стрельнешь — и начинается мировая война. Конечно, для многих в Европе первая мировая война была трагедией, но вот южные славяне, например, освободились от Австро-Венгрии, поляки и финны — от русской империи... так что соблазн велик: если бы человек достоверно знал, что, вот, надо только бабахнуть из пистолета — и начинается история...

Но если бы у нас был такой выбор и возможность — встать, бабахнуть куда-нибудь по направлению Кремля и началось бы падение тоталитарной власти... пошли бы мы на это или нет? У меня лично нет ответа...

Конечно, я знаю, что война всегда ужас, смерть и так далее. Но я также знаю, что свобода намного ценней, чем жизнь без свободы. То есть свобода даже ценнее, чем самая жизнь. Вы все, конечно, знаете эту фразу Бертрانا Рассела: "Лучше красный, чем мертвый"... но недавно Майкл Новак, американский теолог и публицист, очень хорошо ответил: "Лучше мертвый, чем живой мертвец". Есть разные градации смерти, и смерть физическая — не последняя, самая ужасающая смерть. Вот поэтому и в отношении войны у меня часто возникают сомнения.

Теперь несколько слов о тех же сомнениях в связи с плюрализмом. Я вырос в стране, где во время войны шла дикая резня между сербами и хорватами, коммунистами и националистами и т. д. А родители мои были врангелевские эмигранты. И у меня всегда была проблема — с кем быть? Когда я был подростком, я всегда пытался прицепиться, так сказать, к какой-нибудь группе, но это не получалось... я себя не чувствовал ни сербом, ни хорватом, конечно. И оказалось, что я не могу быть ничем другим, кро-

ме как самим собой. Позднее, когда началась моя диссидентская история, в 1966 году, я с друзьями пытался основать независимый журнал, и очень часто, когда мы спорили о положении в Югославии, они мне говорили: “Слушай, ты русский, что ты вмешиваешься в наши югославские дела?..”

Потом я приехал на Запад, и вмешался в русской прессе в русские диссидентские споры, и в одной газете написали: “Чего это Михайлов, югослав, вмешивается в наши русские дела?” Это в газете “Новое русское слово” написал всеми нами уважаемый Владимир Емельянович Максимов, благодаря энергии которого мы сейчас здесь собрались. Но, как видите, я все-таки и дальше продолжаю вмешиваться. Но даже и здесь, в этом зале, я тоже, кажется, совершенно другой — просто потому, что я единственный здесь, я в этом уверен, кто все еще путешествует с “молоткастым, серпастым, краснокожим” паспортом — правда, не советским, югославским... так что я — не эмигрант. И я опять нахожусь в ином положении, чем все остальные.

Вот по всему поэтому для меня с рождения — или с тех пор, как я себя помню, — вопрос возможности и права быть другим, отличным от всех групп, не только другим с какой-то группой: русскими, украинцами, сербами, хорватами — а вообще быть **другим** — является самым важным, экзистенциальным, а не просто идеологическим вопросом. И я пришел к такому выводу: свобода и есть плюрализм! Это синонимы. И никакой свободы нет там, где есть единомыслие, совершенно все равно какое: христианское, исламское или какое хотите — нет и быть не может. Другими словами: если разделить мир на секции — свободная Россия, свободная Украина, свободная, там, Сербия или Хорватия, — то мне не окажется места в этом мире... Только там, где есть свобода для личности, а не для народа, класса и т. д. — только такая свобода меня лично может удовлетворить. В пределе плюрализм охватывает, конечно, практически всех людей, потому что нет в мире двух людей, которые одинаково бы думали и чувствовали... И поэтому плюрализм — это: сколько людей, столько и идеологий, сколько людей, столько, если хотите, и политических положений. И вот такой плюрализм для меня является высшей ценностью...

И все-таки очень трудно, столкнувшись впервые в Соединенных Штатах с абсолютно плюралистическим — практически, по сравнению со всеми другими странами — обществом, трудно принять его сразу. Помню, как в один из первых дней меня провозили

мимо штаб-квартиры американской нацистской партии. Там в самом деле развевался нацистский флаг со свастикой, нацистский, американский... Но никто не возбуждался, никто не говорил, что нацисты возьмут власть в свои руки... И вот это доверие, что люди свободные не будут делать зло, а только в обстоятельствах, когда они к этому принуждены — это, по-моему, является основой всякой демократии и всякого плюрализма. И нам, мнящим себя борцами с тоталитаризмом, логично было бы поддерживать всякий плюрализм, всякую оппозицию, даже в нашей среде, — как англичане, скажем, когда грозит монополия какой-нибудь газеты на Флит-стрит, дают субсидию оппозиционной газете, поддерживают конкурента... Иными словами, оппозиция сама по себе есть добро. И общество или даже сообщество, в котором нет оппозиции, — это уже прямая дорога к тоталитарному строю, даже когда речь идет о совсем маленьких сообществах. Поэтому я всегда ужасаюсь, встречая где-либо попытки введения единомыслия.

И так как я всегда был лично заинтересован в плюрализме, я постарался и на Западе становиться на сторону тех, кто слабее. Я, например, совершенно открыто выступаю в защиту Вадима Белоцерковского — публициста, с которым я почти во всем совершенно не согласен, — потому что мне кажется, что реакция на его статьи намного хуже, чем сама идея, которую он защищает. В результате один нью-йоркский остряк из эмигрантской среды дал мне характеристику, довольно нелестную для всего диссидентского движения, — он меня назвал "диссидентом с человеческим лицом". Ну, а по терминологии Ленина я — то, что он называл "соглашатель-проститутка". Но мне ужасно жалко, что сегодня здесь с нами нет не только Андрея Сахарова и Милована Джиласа, которые не могут приехать, не только Александра Солженицына, который и не приехал бы по собственной воле, так как сам себя держит, но и таких людей как Синявский, Чалидзе, Копелев и многие другие, без которых немыслимо русское диссидентское движение, если хотите — мировое диссидентское движение.

19 лет назад в моей первой книге "Лето московское", с которой началась моя диссидентская история, в этой моей книге, еще задолго до Зиновьева, была глава "Психология гомо советикуса". И там, анализируя эту психологию, я высказал такую мысль (тогда в Союзе как раз напечатали Кафку и шла полемика о модернизме, против модернизма), что советские критики и партия

скорее пропустили бы полный модернизм, чем какой-либо плюрализм в художественном творчестве. В Югославии, между прочим, именно это и произошло. В Югославии "модернизм" был такой, что годами совершенно невозможно было напечатать какое-либо реалистическое произведение. Так что сущность гомо советикуса — отнюдь не в идеологии или направленности, сущность — в монологизме, то есть недопущении "другого". И в этом смысле, к сожалению, всем нам приходится бороться — и главным образом в самих себе — с остатками гомо советикуса или гомо югославикуса, как хотите... И в русском диссидентском движении эти остатки тоже существуют — как в национально-авторитарном грубо говоря, так и в либерально-демократическом крыле.

И вот третий мой вопрос, на который я тоже не всегда нахожу ответ, по-моему, тоже вытекает из утверждения, типичного для гомо советикуса, которое часто повторяется во всей русской прессе, утверждения, что, дескать, свободный мир подходит к своему концу. Вот на прошлой неделе Александр Исаевич, принимая в Лондоне религиозную награду сказал: "... И по оползням уступок, на глазах одного нашего поколения, Запад необратимо сползает в пропасть".

Лично я этого не вижу. Все страны, которые коммунисты захватили уже после войны, не были демократическими. Демократии нигде не были ликвидированы. И на Кубе Кастро победил диктатора Батисту, и в Никарагуа был побежден диктатор Самоса, и в Абиссинии... то есть нигде какой-либо потери демократии я не вижу, просто нельзя на нее указать... И вот в связи с этим возникает еще один вопрос. Многим из нас кажется, что весь двадцатый век западного мира — это только растянутый семнадцатый год. Солженицын даже высказал такую мысль: "Я приехал к вам из вашего будущего". Конечно, если все живое — не вечно, умирает, и общество тоже умирает, то можно сравнить смерть выкидыша со смертью человека, прожившего целую жизнь. Однако после смерти человека, прожившего всю жизнь, мир остается совершенно другим, и в этом смысле я глубоко согласен не с Солженицыным, а с Бердяевым, что западный мир переживает теперь кризис рождения, а ни в коем случае не смерти, рождения нового типа общества, которое будет намного более плюралистическим и демократическим, чем нынешнее. Это прекрасно видно по Америке. Люди, которые там жили, помнят, как еще 25 лет назад негры сходили с тротуара, чтобы уступить дорогу

белым, и т. д. Многие недемократические вещи, которые в Америке можно было наблюдать еще четверть века назад, сегодня просто не существуют. И мне всегда как-то печально и жалко становится, когда я слышу такие слова, как солженицынские — мол, западный мир подходит к концу, демократия пропадает... Наоборот, я вижу, что за последние 15 лет коммунистическая идеология гибнет — в Европе, например, кто в нее верит сейчас?

И еще один вопрос остается для меня проблематичным. Здесь много говорили о том, что свобода сама по себе не гарантирует художественного или какого-либо иного творчества, что совершенно верно. Но вот, если честно спросить у самого себя: что бы вы предпочли — жить под тоталитарным прессом и творить великие произведения или жить нормальной жизнью, которой живет большинство людей? — это тоже такой вопрос, на который нельзя так легко ответить... однозначно ответить...

И в заключение, так как мы все здесь — профессионалы идей, профессионалы пера, — мне хочется напомнить один малоизвестный факт. В 1945 году Сталин выселил из Крыма крымских татар. Но идею эту за 70 лет до того развивал и защищал великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский. Это была его идея, что крымских татар нужно выселить из Крыма. И другая его идея, которую тоже осуществил только Сталин, состояла в том, что все славяне должны объединиться под эгидой русской империи. Конечно, можно сказать, что Сталин объединил их не под русской эгидой, я совершенно согласен, но суть того, что я хочу сказать, в том, что у человеческих идей есть странное свойство — они обыкновенно рано или поздно осуществляются. И поэтому нам нужно быть осторожными с идеями и помнить это. Если верить, что сейчас в мире идет всемирная гражданская война между тоталитаризмом и демократией на всех уровнях, во всех сферах, то мне кажется, что очень хорошо было бы помнить и следовать примеру одного американца девятнадцатого века, Авраама Линкольна, которого во время гражданской войны спросили (он был религиозным человеком) : "Вы часто молитесь Богу, чтобы Творец был на вашей стороне и помог вам одержать победу над врагом? — а он ответил: "Да что вы, совсем наоборот — я всегда молю Его о том, чтобы быть на Его стороне..."

ИЗДАТЕЛЬСТВО "LA PRESSE LIBRE"
217, rue Faubourg St. Honore 75008 Paris

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ СЕРИЯ

Н. Баранова-Шестова. ЖИЗНЬ ЛЬВА ШЕСТОВА.

По письмам и воспоминаниям современников.

В двух томах.

том 1-й. 380 стр. 36 н. м.

том 2-й. 400 стр. 36 н. м.

Академически полная биография одного из крупнейших русских религиозных философов, составленная его дочерью на основании обширного архива Л. Шестова, неизданных воспоминаний его друзей и последователей, материалов и книг его современников. Книга включает письма Шестова и письма к нему Бердяева, Бергсона, Бубера, Булгакова, Бунина, Гершензона, Гиппиус, Гуссерля, В. Иванова, Леви-Брюля, Ловцкого, Т. Манна, Ремизова, Фондана, Хейдеггера, Цветаевой, Шлецера и мн. др. писателей, философов, общественных деятелей, воссоздавая не только жизнь Шестова, но и всю эпоху — от конца прошлого века до начала второй мировой войны. Книга снабжена научным аппаратом. Множество редких фотографий, публикуемых впервые.

Владимир Зелинский. Приходящие в Церковь.

164 стр. 18 н. м.

Книга молодого московского автора посвящена проблемам христианского движения в современной России. Трудности, с которыми сталкиваются "приходящие в Церковь", положение самой Церкви в атеистическом государстве, необходимость для нее ответить на нужды нового поколения верующих, рост "у церковных стен" молодой христианской общественности — все это становится объектом исследования автора, ощущающего себя частью этого движения.

А. А. Мейер. Философские сочинения.

500 стр. 37. н.м.

Александр Александрович Мейер (1855—1939) принадлежал к плеяде свободных русских философов, ставших творцами русского религиозно-философского возрождения начала XX века. Начав с увлечения анархизмом (в начале 1900-х годов вместе с Георгием Чульсовым он становится идеологом "мистического анархизма" в России), пройдя через богоискательство (долгие годы М. был секретарем СПб Религиозно-философского общества, а затем вместе с А. Блоком и А. Белым стал основателем Вольной Философской Ассоциации), — он приходит к созданию собственной оригинальной религиозно-философской системы. В 1928 г. его арестовывают за "контрреволюционный заговор". Приговор — смертная казнь, которую заменяют на 10 лет Соловецких лагерей. Но и в лагере, и в последующей ссылке Мейер продолжает работать, писать.

Творчество А. А. Мейера почти неизвестно широкому читателю. После 1918 в печати его имя не появлялось.

Собрание включает большинство законченных философских работ А. А. Мейера, из которых лишь одна ("Религия и культура", 1909) была опубликована ранее. Остальные работы публикуются по рукописям из архива А. А. Мейера. Книга снабжена двумя предисловиями — историко-биографическим и философским — и полной библиографией работ А. А. Мейера.

МЕМУАРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Память. Исторический сборник. Выпуск 5.
1982 г. 520 стр. 45 нем. марок.

Наиболее авторитетное научное издание, посвященное замолчанной и искаженной русской истории XX века. Готовится в Советском Союзе в самиздате.

Настоящий выпуск включает:

— воспоминания о советской оккупации послевоенной Германии, о 40-летней истории Института мировой литературы и об одном из наиболее ранних писательских процессов времен "оттепели";

— материалы по истории культуры: попытки создания национальных академий после революции и их удушение; история высшей школы и искажение ее в советских изданиях, судьба изд. "Всемирная литература", основанного М. Горьким; арест Н. Заболоцкого;

— материалы к истории подпольных политических организаций в СССР в 50-е годы: советская дипломатия 30-х годов (интервью с Е. А. Гнединым); материалы о гибели свободной кооперации, поглощенной государством в 20-х годах;

— ответ проф. Р. Пайпса на рецензию, посвященную его книге "Россия при старом режиме" ("Память", вып. 4) и множество других материалов. Публикации снабжены детальными комментариями, вступительными статьями, редкими фотографиями, многие из которых публикуются впервые

Полный указатель имен

Андрей Белый. Воспоминания о Штейнере

1982 г. 420 стр. 36 нем. марок

В начале XX века имя Рудольфа Штейнера было чрезвычайно популярно в России, особенно в среде столичной интеллигенции, а идеи его помогали формированию философских и эстетических концепций русских символистов. Десятки людей отправлялись в Германию на лекции знаменитого профессора, многие — надолго, а иные — навсегда становились его учениками. На А. Белого личность Штейнера и его христианская антропософия оказали глубочайшее влияние. Дважды прослушал Белый полный курс его лекций, больше года жил в Дорнахе, постоянно общаясь с "доктором" и принимая участие в постройке его детища — "Гетеанума". Там же, в Дорнахе, под непосредственным влиянием Штейнера написан был "Котик Летаев". Необычайный пиетет и восторженно-любственное отношение к "Учителю" сохранял Белый всю жизнь.

Воспоминания Андрея Белого никогда не публиковались по-русски.

Книга представляет собой сравнительное издание (с двух машинописных копий текста), снабженное обширной вступительной статьей, подробным

историко-литературным комментарием, библиографией и именованным указателем. Воспроизводятся редкие фотографии, часть из которых печатается впервые. Подготовка текста проф. Ф. Козлика.

Евгений Шварц. Мемуары.

250 стр. 21 н. м.

Евгений Львович Шварц (1896—1958) пользуется славой крупнейшего русского драматурга послереволюционной эпохи. Его блестящие комедии, особенно "Голый король", "Обыкновенное чудо", "Тень", "Дракон" — жестокая антисталинская сатира — постоянно ставятся на театральных подмостках России и всего мира.

Гораздо меньше известно его мемуарное творчество. Начиная с 30-х годов, Шварц постоянно вел подробные дневники, записывая в толстые канцелярские книги события окружающей жизни, свои впечатления и мысли, делая зарисовки людей, с которыми сталкивался. Воспоминания рисуют литературно-художественный быт Ленинграда 20—30 годов, дают острые и неожиданные (а порой и нелицеприятные) портреты его современников. Так, совершенно необычными, нетрафаретными предстают в них Чуковский, Маршак, Олейников, Житков, Лебедев...

Настоящее издание осуществляется по оригинальной авторской рукописи. Книга содержит обширную вступительную статью и примечания к тексту, составленные профессором Дартмутского университета Л. Посевым.

Ирина Одоевцева. НА БЕРЕГАХ СЕНЫ

Около 450 стр. (В печати)

Книга одного из последних живущих сегодня поэтов русского "серебряного века", автора широко известных воспоминаний "На берегах Невы". Новая книга охватывает почти полувековой период парижской жизни Одоевцевой, находившейся в самом центре литературных исканий русской эмиграции. Г. Иванов, И. Северянин, И. Бунин, К. Бальмонт, Д. Мережковский, З. Гиппиус, В. Ходасевич, М. Цветаева, Г. Адамович и множество других оживают на страницах воспоминаний. Книга написана легко и ярко, великолепно передает атмосферу, быт, события целой эпохи русской литературы. Много уникальных фотографий.

Серия XX ВЕК (Поэзия и проза)

Владислав Ходасевич. Собрание стихов.

В двух томах

Редакция, примечания, очерк жизни и творчества — Ю. Колкера.

Том 1. 328 стр. 30 н. м.

Первое по возможности наиболее полное, комментированное издание поэтического наследия одного из крупнейших русских поэтов XX века.

Том 1-й включает: основной корпус первых четырех книг Вл. Ходасевича (до эмиграции из России) с приложением вариантов и ранних редакций стихов; библиографическую часть с указанием всех повременных публикаций поэта; обширные библиографические и историко-литературные комментарии к стихам и особо к каждому сборнику, выполненные на основе архивных материалов, воспоминаний современников и свидетельств самого Вл. Ходасевича.

Второй том собрания включает: последний сборник Вл. Ходасевича "Европейская ночь"; стихи, не собранные в книги; обширный раздел стихотворных переводов из польской, армянской, еврейской поэзии, выполненных Ходасевичем; очерк жизни и творчества поэта и отдельную статью о Ходасевиче-переводчике; богатый историко-литературный комментарий, библиографию, именной указатель.

Юрий Кублановский. С последним солнцем.

Послесловие Иосифа Бродского. 370 стр. 28 н. м.

Книга, подводящая итог десятилетнего творчества поэта. Состоит из четырех частей: "Памяти Москвы", "Путешествие", "Памяти Петрограда", "С последним Солнцем", и двух независимых циклов стихов — "Иордань" и "Песни венского карантина", написанных в последние месяцы жизни в России и сразу после выезда на Запад.

"Кублановский — единственный поэт из всего поколения, который способен обращаться к теме Творца и творения с поэтическим достоинством и подлинной сдержанностью. Он пишет о чуде — о чуде жизни, о даре — как тот, кто понимает масштаб дара... В нем чувствуется цельность..."

Иосиф Бродский.

Юрий Одарченко. СТИХИ И ПРОЗА.

Около 250 стр. (В печати)

За свою жизнь Ю. Одарченко выпустил лишь одну небольшую книжку стихов "Денек". Но и ее хватило, чтобы утвердить его имя, как одного из наиболее талантливых и своеобразных поэтов "молодого поколения". В предлагаемой книге собрано поэтическое и прозаическое наследие Одарченко: "Денек", разбросанные по малодоступной сегодня периодике стихи и повести, неизданные стихи и рассказы. Предисловие К. Померацева. Подготовка текста, очерк творчества и комментарий В. Бетаки. Много неизданных фотографий.

Этой книгой мы начинаем серию публикаций авторов русского рассеяния, чьи имена сегодня полузабыты, но чье творчество остается органической частью единой русской литературы.

Гайто Газданов. ИЗБРАННАЯ ПРОЗА.

В двух томах.

Подготовка текста, вступительная статья и комментарий проф. Ласло Диенеша (США).

Т. 1 — около 500 стр. (В печати)

Т. 2 — около 550 стр. (В печати)

Книга впервые представляет с достаточной полнотой творчество одного из интереснейших прозаиков русской эмиграции. В нее входят произведения, разбросанные по малодоступной эмигрантской периодике и неизданные вещи. Первый том включает рассказы Газданова, второй — его романы, в т. ч. никогда полностью не публиковавшийся роман "Полет".

Серия: ДИАЛОГ

В. Буковский. Пацифисты против мира.

110 стр. 13 н. м.

Актуальная публицистическая книга Владимира Буковского посвящена сегодняшнему пацифистскому движению в Западной Европе. Рассматривая внешнюю политику Советского Союза на протяжении всей его истории, В. Буковский показывает, как естественное стремление человечества к миру всегда использовалась советскими руководителями в собственных — не мирных — целях. Дезориентация общественного мнения западных стран, попытка связать руки западным правительствам в укреплении их обороноспособности, — инспирируются Москвой для обеспечения собственного военного превосходства и продолжения коммунистической экспансии.

Основной вывод автора: никогда еще лозунг "Мир любой ценой" — не привел к прочному миру, но лишь увеличивал военную опасность, поощряя агрессию.

А. А. Курдюмов. В краю непуганых идиотов.

Книга об Ильфе и Петрове. 300 стр. 28 н. м.

Первая монография, посвященная творчеству наиболее известных послереволюционных сатириков, их писательской и человеческой судьбе, их общественной и нравственной позиции.

В семидесятые годы вокруг имен Ильфа и Петрова возникло множество мифов, искажающих образ писателей. Самиздатский автор показывает беспочвенность мифотворчества, связанного с идеологической модой, в частности, легенды об "антиинтеллигентстве" Ильфа и Петрова, восстанавливает подлинный образ писателей и их место в контексте литературной жизни 20—30-х гг.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Вниманию читателей: книга писем Йонатана Натанягу, отрывки из которой опубликованы в "22", № 29, выходит в изд. "Тарбут" (а не "Библиотека Алия", как сообщалось ошибочно в № 29).

В моих воспоминаниях "Проклятой воровской дорогой", опубликованных в №№ 27 и 38 журнала "22", допущены опечатки, искажающие смысл текста. Напечатано: "У воров нет никаких пацанов и авторитетов" (стр. 196) — следует читать: "У воров нет никаких паханов и авторитетов". Напечатано: "Только страхом разоблачения могу я объяснить то, что Демин подкараулил обвинявшего его Ленина и убил его ночью в туалете" (стр. 197) — следует читать: "Ибо разоблачив, таких воров не убивали. А кто убил? Это простая арифметика, и я предоставляю догадаться читателю, кто убил вора по кличке Ленин в туалете". Напечатано: "На утро нас разбросали по баракам по двое" (стр. 204) — следует читать: "На утро нас разбросали по камерам по двое". Напечатано: "В свои тринадцать я делал такие дела" (стр. 204) — следует читать: "В свои четырнадцать я делал такие дела". Напечатано: "Будущее меня страшило" (стр. 204) — следует читать: "Будущее меня не страшило". Напечатано: "но среди моих товарищей-воров обо мне пошла дурная молва" (№ 28, стр. 221) — следует читать: "Но среди заключенных обо мне пошла дурная молва".

Прошу извинения у читателей.

Иерухам Абрамов (Аззи)

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ "ДВАДЦАТЬ ДВА"

Условия годичной подписки: в Израиле 1400 шекелей (можно в два чека с разрывом в месяц), за рубежом 35 долларов с доставкой обычной почтой (авиапочтой в Европу — 45, в США — 51 доллар). Для организаций — 44 доллара. Заказы и чеки направлять по адресу: "22" P.O.B. 7045, Рамат-Ган, Израиль.

КО ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

Наш журнал существует исключительно на ваши деньги. Инфляция ставит его существование под угрозу. Мы просим всех, заинтересованных в сохранении журнала, присылать пожертвования в "Фонд друзей журнала "22" в Израиле и на Западе". Любые пожертвования будут приняты с благодарностью.

В мае-июне журнал поддержали пожертвованиями следующие лица: Д. Проктор (Бен-Дор) — 300 ш., З. Цур (Беер-Шева) — 200 ш., М. Ременик (Иерусалим) — 100 ш., Ю. Мильштейн (Иерусалим) — 500 ш., С. Шифман (Хайфа) — 400 ш., Т. Фейгин (Бат-Ям) — 300 ш., А. Либерман (Ришон-ле-Цион) — 240 ш., д-р И. Левитан (Нетания) — 300 ш., А. Шенкер (Кирият-Оно) — 600 ш., В. Матлин (США) — 10 д., д-р С. Гурмарник (США) — 20 д., Л. Нан (США) — 25 д., Ю. Тувин (США) — 25 д., А. Варди (Мюнхен) — 48 д., Е. Кантина (США) — 15 д., Дм. Кулаков (США), проф. Е. Авербух (Иерусалим) — 500 ш., К. Тессель (Эль-Кана) — 500 ш. Мы благодарим этих подлинных друзей нашего журнала.

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с №
Прилагаю чек (чеки) № на сумму
Журнал прошу выслать по адресу

.....
(пишите разборчиво, желательно указать № телефона)

Жертвую в фонд журнала (фамилия)

